Хрестоматия
для начальной школы

1-4 классы

в соответствии со школьной программой

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В настоящий сборник включены произведения, входящие в программу по литературе для начальной школы и рекомендованные для изучения Министерством образования и науки РФ.

- Хрестоматия для начальной школы. 1–4 классы
  -
  - 1 класс
    - Народные сказки и песни
      - Берёзонька
      - Гуси-лебеди
      - Два весёлых гуся
      - Два Мороза
      - Каша из топора
      - Лиса и журавль
      - Лиса и тетерев
      - Маша и медведь
      - Петушок и бобовое зёрнышко
      - Снегурушка и лиса
    - Сказки и басни писателей XIX века
      - Ушинский К. Д.
      - Пушкин А. С.
      - Крылов И. А.
      - Толстой Л. Н.
    - Произведения писателей XX века
      - Осеева В. А.
      - Осеева В. А.
      - Чуковский К. И.
      - Чуковский К. И.
  - 2 класс
    - Народные былины и сказки
      - Исцеление Ильи Муромца (былина)
      - Никита Кожемяка (былина)
      - Иван-царевич и серый волк
      - Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
      - Сивка-бурка
    - Русская поэзия XIX–XX веков
      - Бальмонт К. Д.
      - Бунин И. А.
      - Бунин И. А.
      - Бунин И. А.

- Лермонтов М. Ю.
- Лермонтов М. Ю.
- Лермонтов М. Ю.
- Майков А. Н.
- Майков А. Н.
- Майков А. Н.
- Майков А. Н.
- Майков А. Н.
- Некрасов Н. А.
- Некрасов Н. А.
- Некрасов Н. А.
- Никитин И. С.
- Никитин И. С.
- Плещеев А. Н.
- Плещеев А. Н.
- Пушкин А. С.
- Пушкин А. С.
- Пушкин А. С.
- Пушкин А. С.
- Толстой А. К.
- Толстой А. К.
- Тютчев Ф. И.
- Тютчев Ф. И.
- Фет А. А.
- Фет А. А.

- Рассказы и сказки русских писателей
  - Аксаков С. Т.
  - Гаршин В. М.
  - Куприн А. И.
  - Мамин-Сибиряк Д. Н.
  - Мамин-Сибиряк Д. Н.
  - Толстой Л. Н.
  - Толстой Л. Н.
  - Толстой Л. Н.

- 3 класс
  - Лирическая поэзия XIX–XX веков
    - Бунин И. А.
    - Бунин И. А.
    - Есенин С. А.
    - Лермонтов М. Ю.
    - Пушкин А. С.
    - Рубцов Н. М.
    - Рубцов Н. М.
    - Рубцов Н. М.

- Фет А. А.
- Сказки и басни русских писателей
  - Пушкин А. С.
  - Пушкин А. С.
  - Крылов И. А.
    - Ворона и лисица
    - Зеркало и Обезьяна
    - Лебедь, Щука и Рак
    - Лисица и виноград
    - Мартышка и очки
    - Слон и Моська
- Произведения писателей XIX–XX веков
  - Одоевский В. Ф.
  - Толстой Л. Н.
  - Толстой Л. Н.
  - Тургенев И. С.
  - Чехов А. П.
  - Чехов А. П.
- Сказки зарубежных писателей
  - Андерсен Г.-Х.
  - Перро Ш.

○ 4 класс
- Народные былины и сказки
  - Былины о Добрыне Никитиче
    - Добрыня и Алёша
    - Добрыня и Змей
  - Илья Муромец и Соловей Разбойник (былина)
  - Садко (былина)
  - Морозко
  - Финист – ясный сокол
- Произведения писателей XIX–XX веков
  - Гаршин В. М.
  - Житков Б. С.
  - Куприн А. И.
  - Одоевский В. Ф.
  - Станюкович К. М.
  - Чехов А. П.
- Поэзия XIX–XX веков
  - Бальмонт К. Д.
  - Баратынский Е. А.
  - Баратынский Е. А.
  - Брюсов В. Я.
  - Бунин И. А.

- Есенин С. А.
- Есенин С. А.
- Лермонтов М. Ю.
- Рубцов Н. М.
- Рубцов Н. М.
- Рылеев К. Ф.
- Толстой А. К.
- Толстой А. К.

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

Хрестоматия для начальной школы. 1–4 классы

© ООО «Издательство Аделант»

* * *

1 класс

Народные сказки и песни

Берёзонька
(русская народная песня)

Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла,
Люли, люли, стояла.

Некому берёзу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли, люли, заломати,
Люли, люли, заломати.

Я пойду, пойду погуляю,
Белую берёзу заломаю,
Люли, люли, заломаю,
Люли, люли, заломаю.

Срежу я с берёзы три пруточка,
Сделаю себе я три гудочка,
Люли, люли, три гудочка,
Люли, люли, три гудочка.

А четвёртую – балалайку,
А четвёртую – балалайку,
Люли, люли, балалайку,
Люли, люли, балалайку.

Стану в балалайку играти,
Стану в балалайку играти,
Люли, люли, играти,
Люли, люли, играти.

Гуси-лебеди
(русская народная сказка)

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.

– Доченька, – говорила мать, – мы пойдём на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей – мы купим тебе

платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу гулять. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.

Вернулась девочка, смотрит – а братца нету! Ахнула, кинулась его искать, туда-сюда – нет нигде! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, – братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Тут она догадалась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава о том, что они маленьких детей уносили.

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела – стоит печь.

– Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

Печка ей отвечает:

– Съешь моего ржаного пирожка – скажу.

– Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся…

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше – стоит яблоня.

– Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

– Поешь моего лесного яблочка – скажу.

– У моего батюшки и садовые не едятся… Яблоня ей не

сказала. Побежала девочка дальше. Течёт молочная река в кисельных берегах.

– Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?

– Поешь моего простого киселька с молочком – скажу.

– У моего батюшки и сливочки не едятся… Долго она бегала по полям, по лесам. День клонился к вечеру, делать нечего – надо идти домой. Вдруг видит – стоит избушка на курьей ножке, с одним окошком, кругом себя поворачивается.

В избушке старая баба-яга прядёт кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку:

– Здравствуй, бабушка!

– Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?

– Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.

– Садись покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядёт – вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:

– Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:

– Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается. Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять:

– Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду.

Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдёт к окошку и спрашивает:

– Девица, прядёшь ли? Мышка ей отвечает:

– Пряду, бабушка… Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого.

Баба-яга закричала:

– Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!.. Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит – летят гуси-лебеди.

– Речка, матушка, спрячь меня!

– Поешь моего простого киселька.

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла её под кисельным бережком.

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали. А гуси-лебеди воротились навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня…

– Яблоня, матушка, спрячь меня!

– Поешь моего лесного яблочка.

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня её заслонила ветвями, прикрыла листами.

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали её, загоготали – налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки:

– Печка, матушка, спрячь меня!

– Поешь моего ржаного пирожка.

Девочка скорее – пирожок в рот, а сама с братцем в печь, села в устьице. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге.

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.

Два весёлых гуся (русская народная песня)

Жили у бабуси
Два весёлых гуся,
Один – серый, другой – белый,
Два весёлых гуся.
Один – серый, другой – белый,
Два весёлых гуся!

Мыли гуси лапки
В луже у канавки,
Один – серый, другой – белый,
Спрятались в канавке.
Один – серый, другой – белый,
Спрятались в канавке!

Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси!
Один – серый, другой – белый,
Гуси мои, гуси!
Один – серый, другой – белый,
Гуси мои, гуси!»

Выходили гуси,
Кланялись бабусе,
Один – серый, другой – белый,
Кланялись бабусе.
Один – серый, другой – белый,
Кланялись бабусе!

Два Мороза
(русская народная сказка)

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родные брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали.

Говорит один Мороз другому:

– Братец Мороз-Красный нос! как бы нам позабавиться – людей поморозить?

Отвечает ему другой:

– Братец Мороз-Синий нос! коль людей морозить – не по чистому нам полю гулять. Поле всё снегом занесло, все проезжие дороги замело; никто не пройдёт, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет да кто-нибудь и встретится по дороге.

Сказано – сделано. Побежали два Мороза, два родные брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по ёлкам, по сосёнкам пощёлкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут – кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает – дунут, словно бисером её всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком – мужичок.

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.

Мороз-Синий нос, как был моложе, говорит:

– Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, ничего. Он же, никак дрова рубить едет… А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нём шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю. Мороз-Красный нос только подсмеивается.

– Молод ещё ты, – говорит, – братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдёмся

под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай покамест!

– Прощай, братец!

Свистнули, щёлкнули, побежали.

Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга:

– Что?

– То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, – говорит младший, – а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.

– Эх, – говорит, – братец Мороз-Синий нос, молод ты и прост. Я его так уважил, что он час будет греться – не отогреется.

– А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?

– Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги да как зачал знобить!.. Он-то ёжится, он-то жмётся да кутается; думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за него – чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

– Эх, братец Мороз-Красный нос! Плохую ты со мною шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал – заморожу мужика, а вышло – он же отломал мне бока.

– Как так?

– Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать: только он всё не робеет – ещё ругается: такой, говорит, сякой этот мороз! Совсем даже обидно стало; принялся я его пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: «Тут мне сломить его». Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо – не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю: «Как быть?» А мужик всё работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу – скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди ж, говорю, вот я тебе покажу себя». Полушубок весь мокрёхонек. Я в него – забрался везде, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик своё дело да подошёл к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать – все слова перебрал, что нет их хуже. «Ругайся! – думаю я себе, – ругайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удовольствовался. Выбрал полено подлиннее да посучковатее да как примется по полушубку

бить! По полушубку бьёт, а меня всё ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз – выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушёл. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.

То-то!

Каша из топора (русская народная сказка)

Старый солдат шёл на побывку. Притомился в пути и есть хочется. Дошёл до деревни, постучал в крайнюю избу: – Пустите отдохнуть дорожного человека!

Дверь отворила старуха.

– Заходи, служивый.

– А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего?

У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой.

– Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего мне есть.

– Ну, нет так нет, – солдат говорит.

Тут он приметил под лавкой топор.

– Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора.

Хозяйка руками всплеснула:

– Как так из топора кашу сварить?

– А вот как, дай-ка котёл.

Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в котёл, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал.

– Ну, как? – спрашивает старуха.

– Скоро будет готова, – солдат отвечает, – жаль вот только, что посолить нечем.

– Соль-то у меня есть, посоли. Солдат посолил, снова попробовал.

– Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы!

Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы.

– Бери, заправь как надобно.

Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может.

– Ох, и каша хороша! – облизнулся солдат. – Как бы сюда да чуток масла – было б и вовсе объеденье.

Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу.

– Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть!

– Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, – дивится старуха.

А солдат ест да посмеивается.

Поели вдвоём кашу. Старуха спрашивает:

– Служивый! Когда ж топор будем есть?

– Да, вишь, он не уварился, – отвечал солдат, – где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю!

Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошёл в иную деревню. Вот так-то солдат и каши поел и топор унёс!

Лиса и журавль (русская народная сказка)

Лиса с журавлем подружилась.

Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости:

– Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу!

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала её по тарелке. Подала и потчует:

– Покушай, мой голубчик куманёк! Сама стряпала.

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет себе да лижет кашу – так всю сама и скушала. Каша съедена; лисица и говорит:

– Не обессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем!

– Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:

– Кушай, кумушка! Не стыдись, голубушка.

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдёт и этак, и лизнёт его и понюхает; толку всё нет как нет! Не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем клюёт себе да клюёт, пока всё не поел.

– Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем. Взяла лису досада: думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как несолоно хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлём врозь.

Лиса и тетерев (русская народная сказка)

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит:

– Здравствуй, Тетеревочек, мой дружочек! Как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать.

– Спасибо на добром слове, – сказал Тетерев. Лисица притворилась, что не расслышала и говорит:

– Что говоришь? Не слышу. Ты бы Тетеревочек, мой дружочек, сошёл на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу.

Тетерев сказал:

– Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле.

– Или ты меня боишься? – сказала Лисица.

– Не тебя, так других зверей боюсь, – сказал Тетерев. – Всякие звери бывают.

– Нет, Тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают.

– Вот это хорошо, – сказал тетерев, – а то вот собаки бегут; кабы по-старому, тебе бы уходить надо, а теперь тебе бояться нечего.

Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать.

– Куда ж ты? – сказал тетерев. – Ведь нынче указ, собаки не тронут.

– А кто их знает! – сказала лиса. – Может, они указ не слыхали.

Маша и медведь (русская народная сказка)

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька.

Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.

– Дедушка, бабушка, – говорит Машенька, – отпустите меня в лес с подружками!

Дедушка с бабушкой отвечают:

– Иди, только смотри от подружек не отставай, не то заблудишься.

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька – деревце за деревце, кустик за кустик – и ушла далеко-далеко от подружек.

Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются.

Ходила, ходила Машенька по лесу – совсем заблудилась.

Пришла она в саму глушь, в саму чащу. Видит – стоит избушка. Постучала Машенька в дверь – не отвечают. Толкнула она дверь – дверь и открылась.

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку.

Села и думает:

«Кто же здесь живёт? Почему никого не видно?..»

А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил.

Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.

– Ага, – говорит, – теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.

Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке.

Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.

– А если уйдёшь, – говорит, – всё равно поймаю и тогда уж съем!

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти – не знает, спросить не у кого.

Думала она, думала и придумала.

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:

– Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев снесу.

– Нет, – говорит медведь, – ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу.

А Машеньке того и надо!

Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю:

– Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду!

– Ладно, – отвечает медведь, – давай короб!

Машенька говорит:

– Выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик!

Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила.

Вернулся медведь, видит – короб готов. Взвалил его на спину и пошёл в деревню.

Идёт медведь между ёлками, бредёт медведь между берёзками, в овражки спускается, на пригорки поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит:

– Сяду на пенёк, Съем пирожок!

А Машенька из короба:

– Вижу, вижу!

Не садись на пенёк,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!

– Ишь какая глазастая, – говорит медведь, – всё видит! Поднял он короб и пошёл дальше. Шёл-шёл, шёл-шёл,

остановился, сел и говорит:

– Сяду на пенёк,

Съем пирожок!

А Машенька из короба опять:

– Вижу, вижу!

Не садись на пенёк,

Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!

Удивился медведь:

– Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит!

Встал и пошёл скорее.

Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота:

– Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принёс.

А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают.

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки.

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят – короб стоит.

– Что это в коробе? – говорит бабушка.

А дедушка поднял крышку, смотрит – и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит, живёхонька и здоровёхонька.

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.

Петушок и бобовое зёрнышко (русская народная сказка)

Жили-были петушок да курочка. Рылся петушок на дворе и вырыл бобок. Съел петушок зёрнышко и подавился. Позвал курочку:

– Сходи, курочка, к речке, попроси водицы напиться. Побежала курочка к речке:

– Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зёрнышком!

Речка говорит:

– Сходи к липке, попроси листок, тогда дам водицы. Побежала курочка к липке:

– Липка, липка, дай мне листок! Отнесу листок речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зёрнышком.

Липка говорит:

– Сходи к девушке, попроси нитку. Побежала курочка:

– Девушка, девушка, дай нитку! Отнесу нитку липке, липка даст листок, отнесу листок речке, речка даст водицы петушку

напиться: петушок подавился бобовым зёрнышком.

Девушка отвечает:

– Сходи к гребенщикам, попроси гребень, тогда дам нитку. Курочка прибежала к гребенщикам:

– Гребенщики, гребенщики, дайте мне гребень! Отнесу гребень девушке, девушка даст нитку, отнесу нитку липке, липка даст листок, отнесу листок речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зёрнышком.

Гребенщики говорят:

– Сходи к калашникам, пусть дадут нам калачей. Побежала курочка к калашникам:

– Калашники, калашники, дайте калачей! Калачи отнесу гребенщикам, гребенщики дадут гребень, отнесу гребень девушке, девушка даст нитку, нитку отнесу липке, липка даст листок, листок отнесу речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зёрнышком.

Калашники говорят:

– Сходи к дровосекам, пусть нам дров дадут. Пошла курочка к дровосекам:

– Дровосеки, дровосеки, дайте дров! Отнесу дрова калашникам, калашники дадут калачей, калачи отнесу гребенщикам, гребенщики дадут гребень, отнесу гребень девушке, девушка даст нитку, нитку отнесу липке, липка даст листок, листок отнесу речке, речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зёрнышком.

Дровосеки дали курочке дров.

Отнесла курочка дрова калашникам, калашники дали ей калачей, калачи отдала гребенщикам, гребенщики дали ей гребень, отнесла гребень девушке, девушка дала ей нитку, нитку отнесла липке, липка дала листок, отнесла листок речке, речка дала водицы.

Петушок напился, и проскочило зёрнышко.

Запел петушок:

– Ку-ка-ре-куу!

Снегурушка и лиса (русская народная сказка)

Жил да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка.

Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают ягоды. Деревцо за деревцо, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг.

Они аукали её, аукали, но Снегурушка не слыхала.

Уже стало темно, подружки пошли домой.

Снегурушка как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать да припевать:

– Ау! Ау! Снегурушка, Ау! Ау! голубушка!

У дедушки, у бабушки Была внучка Снегурушка; Её подружки в лес заманили, Заманивши – покинули.

Идёт медведь и спрашивает:

– О чём ты, Снегурушка, плачешь?

– Как мне, батюшка – медведушка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули.

– Сойди, я тебя отнесу домой.

– Нет. Я тебя боюсь, ты меня съешь!

Медведь ушёл от неё. Она опять заплакала, заприпевала:

– Ау! Ау! Снегурушка, Ау! Ау! голубушка!

Идёт волк:

– О чём ты, Снегурушка, плачешь?

– Как мне, серый волк, не плакать, меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули.

– Сойди, я тебя отнесу домой.

– Нет. Ты меня съешь!

Волк ушёл, а Снегурушка опять заплакала, заприпевала: – Ау! Ау! Снегурушка, Ау! Ау! голубушка!

Идёт лисица:

– Чего ты, Снегурушка, плачешь?

– Как мне, лиса Олисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули.

– Сойди, я тебя отнесу.

Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку.

– Кто там? Лиса отвечает:

– Я принесла вашу внучку Снегурушку!

– Ах ты наша милая, дорогая лиса Олисава! Войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить?

Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать за её услугу. А потом простились и дали ей на дорогу ещё курочку.

Сказки и басни писателей XIX века

Ушинский К. Д.
Ветер и Солнце (притча)

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и наконец решились померяться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.

Сказал – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.

Пушкин А. С.
Сказка о рыбаке и рыбке

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, –
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, –
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, –
Пришёл невод с одною рыбкой,

С непростою рыбкой, – золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море!
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо:

«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с неё выкуп;
Так пустил её в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!

Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с неё корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошёл он к синему морю;
Видит, – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:

«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не даёт старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».

Воротился старик ко старухе:
У старухи новое корыто.
Ещё пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошёл он к синему морю,
(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Ещё пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошёл он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чём свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть чёрной крестьянкой,

Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошёл старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не даёт старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьёт их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась;
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь!
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.

«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? –
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдёшь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг её стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, – испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,

Ещё пуще старуха вздурилась.
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтобы служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперёк слова молвить.
Вот идёт он к синему морю,
Видит, на море чёрная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

Крылов И. А.
Стрекоза и Муравей (басня)

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» –
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» –
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило». –
«А, так ты…» – «Я без души
Лето целое всё пела». –
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Толстой Л. Н.
Стрекоза и муравьи (басня)

Осенью у муравьёв подмокла пшеница: они её сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали: «Что ж ты летом не собрала корму?» Она сказала: «Недосуг было: песни пела». Они засмеялись и говорят: «Если летом играла, зимой пляши».

Произведения писателей XX века

Осеева В. А.
Волшебное слово

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке.

– Подвиньтесь, – сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал:

– С тобой что-то случилось?

– Ну и ладно! А вам-то что? – покосился на него Павлик.

– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то…

– Ещё бы! – сердито буркнул мальчик. – Я скоро совсем убегу из дому. – Убежишь?

– Убегу! Из-за одной Ленки убегу. – Павлик сжал кулаки. – Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски не даёт! А у самой сколько!

– Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит.

– Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала… прямо тряпкой, тряпкой…

Павлик засопел от обиды.

– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает, другой пожалеет.

– Никто меня не жалеет! – крикнул Павлик. – Брат на лодке едет кататься, а меня не берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку залезу!»

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал.

– Что же, не берёт тебя брат?

– А почему вы всё спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду:

– Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово… Павлик раскрыл рот.

– Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни – тихим голосом, глядя прямо в глаза…

– А какое слово?

Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил:

– Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить его.

– Я попробую, – усмехнулся Павлик, – я сейчас же попробую. – Он вскочил и побежал домой.

Лена сидела за столом и рисовала. Краски – зелёные, синие, красные – лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой.

«Обманул старик! – с досадой подумал мальчик. – Разве такая поймёт волшебное слово!..»

Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал:

– Лена, дай мне одну краску… пожалуйста…

Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она смущённо пробормотала:

– Ка-кую тебе?

– Мне синюю, – робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал её в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове.

«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?»

Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки.

Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал:

– Дай мне кусочек пирожка… пожалуйста. Бабушка выпрямилась.

Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке.

– Горяченького… горяченького захотел, голубчик мой! – приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок.

Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её в обе щеки.

«Волшебник! Волшебник!» – повторял он про себя, вспоминая старика.

За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил:

– Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся.

– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе стоит!

– Ну, отчего же не взять? – улыбнулась бабушка. – Конечно, возьми.

– Пожалуйста, – повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы:

– Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся! «Помогло! Опять помогло!»

Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.

Осеева В. А.
Сыновья

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой:

– Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит.

– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, – говорит другая.

А третья молчит.

– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают её соседки.

– Что ж сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём особенного нету. Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок – за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.

Вдруг навстречу три мальчика выбегают.

Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. Другой песню поёт, соловьём заливается – заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.

Спрашивают женщины старичка:

– Ну что? Каковы наши сыновья?

– А где же они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу!

Чуковский К. И.
Краденое солнце

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.

А сороки –
Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»

Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал –
Заблудился и пропал.

Плачет серый воробей:
«Выйди, солнышко, скорей!
Нам без солнышка обидно –
В поле зёрнышка не видно!»

Плачут зайки
На лужайке:
Сбились, бедные, с пути,
Им до дому не дойти.

Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,

Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.

Рано-рано
Два барана
Застучали в ворота:
Тра-та-та и тра-та-та!

«Эй вы, звери, выходите,
Крокодила победите,
Чтобы жадный Крокодил
Солнце в небо воротил!»

Но мохнатые боятся:
«Где нам с этаким сражаться!
Он и грозен и зубаст,
Он нам солнца не отдаст!»
И бегут они к Медведю в берлогу:
«Выходи-ка ты, Медведь, на подмогу.
Полно лапу тебе, лодырю, сосать.
Надо солнышко идти выручать!»

Но Медведю воевать неохота:
Ходит-ходит он, Медведь, круг болота,
Он и плачет, Медведь, и ревёт,
Медвежат он из болота зовёт:
«Ой, куда вы, толстопятые, сгинули?
На кого вы меня, старого, кинули?»

А в болоте Медведица рыщет,
Медвежат под корягами ищет:
«Куда вы, куда вы пропали?
Или в канаву упали?
Или шальные собаки
Вас разорвали во мраке?»
И весь день она по лесу бродит,
Но нигде медвежат не находит.
Только чёрные совы из чащи
На неё свои очи таращат.

Тут зайчиха выходила
И Медведю говорила:
«Стыдно старому реветь –
Ты не заяц, а Медведь.

Ты поди-ка, косолапый,
Крокодила исцарапай,
Разорви его на части,
Вырви солнышко из пасти.
И когда оно опять
Будет на небе сиять,
Малыши твои мохнатые,
Медвежата толстопятые,
Сами к дому прибегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»

И встал
Медведь,
Зарычал
Медведь,
И к Большой Реке
Побежал
Медведь.

А в Большой Реке
Крокодил
Лежит,
И в зубах его
Не огонь горит, –
Солнце красное,
Солнце краденое.

Подошёл Медведь тихонько,
Толканул его легонько:
«Говорю тебе, злодей,
Выплюнь солнышко скорей!
А не то, гляди, поймаю,
Пополам переломаю, –
Будешь ты, невежа, знать
Наше солнце воровать!
Ишь разбойничья порода:
Цапнул солнце с небосвода
И с набитым животом
Завалился под кустом
Да и хрюкает спросонья,
Словно сытая хавронья.
Пропадает целый свет,
А ему и горя нет!»

Но бессовестный смеётся
Так, что дерево трясётся:
«Если только захочу,
И луну я проглочу!»
Не стерпел
Медведь,
Заревел
Медведь,
И на злого врага
Налетел
Медведь.
Уж он мял его
И ломал его:
«Подавай сюда
Наше солнышко!»
Испугался Крокодил,
Завопил, заголосил,
А из пасти
Из зубастой
Солнце вывалилось,
В небо выкатилось!
Побежало по кустам,
По берёзовым листам.

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!

Стали пташки щебетать,
За букашками летать.

Стали зайки
На лужайке
Кувыркаться и скакать.
И глядите: медвежата,
Как весёлые котята,
Прямо к дедушке мохнатому,
Толстопятые, бегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»

Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют косолапого:
«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!»

Чуковский К. И.
Телефон

У меня зазвонил телефон.
– Кто говорит?
– Слон.
– Откуда?
– От верблюда.
– Что вам надо?
– Шоколада.
– Для кого?
– Для сына моего.
– А много ли прислать?
– Да пудов этак пять
Или шесть:
Больше ему не съесть,
Он у меня ещё маленький!

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
– Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.

– Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?

– Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели

И ждём, не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!

А потом позвонили зайчатки:
– Нельзя ли прислать перчатки?

А потом позвонили мартышки:
– Пришлите, пожалуйста, книжки!

А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.

– Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?

Но он только «му» да «му»,
А к чему, почему –
Не пойму!

– Повесьте, пожалуйста, трубку!

А потом позвонили цапли:
– Пришлите, пожалуйста, капли:
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись!

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,

Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.

А недавно две газели
Позвонили и запели:
– Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?

– Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!

Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
– Неужели

В самом деле
Все качели
Погорели?
Что за глупые газели!

А вчера поутру
Кенгуру:
– Не это ли квартира
Мойдодыра? –
Я рассердился, да как заору:
– Нет! Это чужая квартира!!!
– А где Мойдодыр?
– Не могу вам сказать…
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.

Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть…
Но только я лёг –
Звонок!
– Кто говорит?
– Носорог.
– Что такое?
– Беда! Беда! Бегите скорее сюда!
– В чём дело?
– Спасите!
– Кого?
– Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото…
– Провалился в болото?
– Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придёте –
Он утонет, утонет в болоте,
Умрёт, пропадёт
Бегемот!!!

– Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу!

Ох, нелёгкая это работа –
Из болота тащить бегемота!

2 класс

Народные былины и сказки

Исцеление Ильи Муромца (былина)

Жил во славном городе во Муроме, во селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич. Хорошо жил, всего в доме было вдоволь.

Да одно горе его мучило: сынок его любимый, Илеюшко, ходить не мог: с детства не служили ему ноги резвые. Сидел Илья сиднем на печке в избе родительской ровно тридцать лет.

Ушли раз родители его в поле на работу крестьянскую. А к Илье под окно старички нищие, калики перехожие, забрели. Просят:

– Подай нам, Илеюшко, милостыньку. Да напои нас пивком.

Зазвал их Илья в избу, говорит им:

– Подал бы я вам милостыньку и пивком напоил бы – у нас в доме всего много – да видите: я недвижим сижу!

Три раза просили его калики перехожие, три раза Илья им отказывал.

– А ты попробуй-ка, Илья, с печки слезть, – нищие говорят.

Потянулся Илья, спустил ноги с печи, встал на них – диво дивное! Пошли ноги по избе. Скорёхонько сходил Илья в другую горницу за деньгами, подаёт старичкам. А те не берут, говорят:

– Теперь принеси нам напиться пива сладкого.

И в погреб Илья сбегал – себя не помнит от радости, что поправился. Нацедил чашу пива сладкого, перед нищими поставил. А нищие попили да и говорят:

– Допивай, что в чаше осталось. Да вторую неси нам.

И из второй чаши они попили, а Илья опять остатки допил. И почуял он в себе здоровье богатырское, силу непомерную. Говорят ему калики перехожие:

– Проси, чтобы отец тебе жеребёночка купил. Пои его речной водой, корми пшеницей белояровой, давай ему по траве на росах кататься, валяться. Вырастет у тебя богатырский конь, хозяину товарищ. Заведи себе палицу тяжёлую, латы богатырские, нож булатный. Могучим богатырём, Илья Муромец, станешь. И не бойся с врагом в поле встретиться: тебе в бою смерть не писана. А теперь иди в поле, расскажи родителям, что с тобою случилось.

И исчезли калики перехожие. Собрал Илья наскоро пищу, питьё и в поле побежал к родителям. Обрадовались родители, говорят:

– Поезжай, наше дитятко милое, в чисто поле, из чиста поля –

в славный Киев-град. Низко кланяйся князю с княгинею, войску русскому, богатырям-товарищам. Обходись со всеми вежливо.

Всё сделал Илья, как калики перехожие его научили: коня себе богатырского выкормил, латы, оружие достал. Стал богатырём-великаном и отправился в Киев на службу к князю Владимиру. Ласково встретил его Владимир стольно-киевский.

– Ты чей, добрый молодец? Ты какого отца, какой матери?

Отвечает Илья:

– Я из города из Мурома, из села я Карачарова, а зовусь я – Илья Муромец… Позволь мне, князь, в чисто поле съездить, набрать себе дружину храбрую, друзей-товарищей.

Говорит ему Владимир Красно Солнышко:

– Поезжай ты во чисто поле, набирай себе дружину могучую. А оттуда приезжай ко мне на пир. Быть тебе старшим над всеми богатырями русскими.

Поехал Илья в чисто поле. Там в белых шатрах нашёл он и Добрыню Никитича, и Алёшеньку Поповича, и Дуная, и Чурилу, и Самсона Самойловича, и других богатырей. Подружились с ним богатыри-товарищи. Поклонились они ему. Признали его самым сильным, самым храбрым из богатырей земли киевской.

Никита Кожемяка (былина)

Около Киева проявился змей, брал он с народа поборы немалые: с каждого двора по красной девке; возьмёт девку, да и съест её.

Пришёл черёд идти к тому змею царской дочери. Схватил змей царевну и потащил её к себе в берлогу, а есть её не стал: красавица собой была, так за жену себе взял.

Полетит змей на свои промыслы, а царевну завалит брёвнами, чтоб не ушла. У той царевны была собачка, увязалась с нею из дому. Напишет, бывало, царевна записочку к батюшке с матушкой, навяжет собачке на шею; а та побежит, куда надо, да и ответ ещё принесёт.

Вот раз царь с царицею и пишут к царевне: узнай, кто сильнее змея?

Царевна стала приветливей к своему змею, стала у него допытываться, кто его сильнее. Тот долго не говорил, да раз и проболтался, что живёт в городе Киеве Кожемяка – тот и его сильнее.

Услыхала про то царевна, написала к батюшке: сыщите в городе Киеве Никиту Кожемяку да пошлите его меня из неволи выручать.

Царь, получивши такую весть, сыскал Никиту Кожемяку да сам пошёл просить его, чтобы освободил его землю от лютого змея и выручил царевну.

В ту пору Никита кожи мял, держал он в руках двенадцать кож; как увидал он, что к нему пришёл сам царь, задрожал со страху, руки у него затряслись – и разорвал он те двенадцать кож. Да сколько ни упрашивал царь с царицею Кожемяку, тот не пошёл

супротив змея.

Вот и придумали собрать пять тысяч детей малолетних, да и заставили их просить Кожемяку; авось на их слёзы сжалобится!

Пришли к Никите малолетние, стали со слезами просить, чтоб шёл он супротив змея. Прослезился и сам Никита Кожемяка, на их слёзы глядя. Взял триста пуд пеньки, насмолил смолою и весь-таки обмотался, чтобы змей не съел, да и пошёл на него.

Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей заперся и не выходит к нему.

– Выходи лучше в чистое поле, а то и берлогу размечу! – сказал Кожемяка и стал уже двери ломать.

Змей, видя беду неминучую, вышел к нему в чистое поле. Долго ли, коротко ли бился с змеем Никита Кожемяка, только повалил змея. Тут змей стал молить Никиту:

– Не бей меня до смерти, Никита Кожемяка! Сильней нас с тобой в свете нет; разделим всю землю, весь свет поровну: ты будешь жить в одной половине, а я в другой.

– Хорошо, – сказал Кожемяка, – надо межу проложить. Сделал Никита соху в триста пуд, запряг в неё змея, да и стал от Киева межу пропахивать; Никита провёл борозду от Киева до моря Кавстрийского.

– Ну, – говорит змей, – теперь мы всю землю разделили!

– Землю разделили, – проговорил Никита, – давай море делить, а то ты скажешь, что твою воду берут.

Взъехал змей на середину моря. Никита Кожемяка убил и утопил его в море. Эта борозда и теперь видна; вышиною та борозда двух сажен. Кругом её пашут, а борозды не трогают; а кто не знает, от чего эта борозда, – называет её валом.

Никита Кожемяка, сделавши святое дело, не взял за работу ничего, пошёл опять кожи мять.

Иван-царевич и серый волк (русская народная сказка)

Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками.

Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают:

– Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить.

Старший сын говорит:

– Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника. Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на мягкую траву и уснул.

Утром царь его спрашивает:

– Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника?

– Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал.

На другую ночь пошёл средний сын караулить и тоже

проспал всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника.

Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошёл Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз.

Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду светлее и светлее.

Весь сад осветило. Он видит – на яблоню села Жар-птица и клюёт золотые яблоки.

Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост.

Жар-птица встрепенулась и улетела, осталось у него в руке одно перо от её хвоста.

Наутро приходит Иван-царевич к отцу.

– Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?

– Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника память вам принёс. Это, батюшка, Жар-птица.

Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не знать.

Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой об Жар-птице.

Позвал он сыновей и говорит им:

– Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на Жар-птицу.

Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону.

Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать.

Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит – коня нет. Пошёл его искать, ходил, ходил и нашёл своего коня – одни кости обглоданные.

Запечалился Иван-царевич: куда без коня идти в такую даль? «Ну что же, думает, взялся – делать нечего».

И пошёл пеший. Шёл, шёл, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись бежит к нему серый волк:

– Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил?

– Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня.

– Это я, Иван-царевич, твоего коня съел… Жалко мне тебя!

Расскажи, зачем в даль поехал, куда путь держишь?

– Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жар-птицу.

– Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю, где она живёт. Так и быть – коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на меня да держись крепче.

Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал – синие леса мимо глаз пропускает, озёра хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит:

– Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся – час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай!

Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем – на окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит Жарптица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая – золотая, драгоценная! Как такую не взять!» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошёл по крепости звук: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает:

– Чей ты, откуда?

– Я царя Берендея сын, Иван-царевич.

– Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать.

– А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?

– А ты бы пришёл ко мне, по совести попросил, я бы её так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас… Ну, да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой.

Загорюнился Иван-царевич, идёт к серому волку. А волк ему:

– Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ?

– Ну, прости же ты меня, прости, серый волк.

– То-то, прости… Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.

– Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на

конюшню, бери коня, да смотри уздечку не трогай!

Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашёл на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку – она золотом, дорогими камнями убрана; в ней златогривому коню только и гулять.

Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошёл звук по всей крепости: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Иван-царевича и повели к царю Кусману.

– Чей ты, откуда?

– Я Иван-царевич.

– Эка, за какие глупости взялся – коня воровать! На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная. Похить её, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой.

Ещё пуще пригорюнился Иван-царевич, пошёл к серому волку.

– Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа.

– Ну, прости же меня, прости, серый волк.

– То-то прости… Да уж ладно, садись мне на спину.

Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:

– В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путём-дорогой, я тебя скоро нагоню.

Иван-царевич пошёл обратно путём-дорогой, а серый волк перемахнул через стену – да в сад. Засел за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину – и наутёк.

Иван-царевич идёт путём-дорогой, вдруг настигает его серый волк, на нём сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему:

– Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было.

Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой – синие леса мимо глаз пропускает, реки, озёра хвостом заметает.

Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:

– Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?

– Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?

Серый волк отвечает:

– Не разлучу я тебя с такой красотой – спрячем её где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к царю.

Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повёл его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить:

– Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой.

Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял её, посадил на коня, и едут они путём-дорогой.

А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, повёл он Елену Прекрасную в спальню, да только лёг с ней на кровать, глядит – волчья морда вместо молодой жены? Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь.

Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:

– О чем задумался, Иван-царевич?

– Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем – конём златогривым, менять его на Жар-птицу.

– Не печалься, я тебе помогу.

Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:

– Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конём златогривым, ты меня и веди к царю Афрону.

Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конём. Иван-царевич повёл его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой.

Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с Жар-птицей и поехал путём-дорогой в родную сторону.

А царь Афрон велел подвести к себе дарёного коня и только хотел сесть на него – конь обернулся серым волком. Царь, со страху, где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутёк и скоро догнал Ивана-царевича.

– Теперь прощай, мне дальше идти нельзя. Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:

– Не навек прощайся со мной, я ещё тебе пригожусь. Иван-царевич думает: «Куда же ты ещё пригодишься?

Все желанья мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до своих краёв, вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать.

Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали Жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят – у Ивана-царевича всё добыто.

Вот они и сговорились:

– Давай убьём брата, добыча вся будет наша.

Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили её:

– Дома не сказывай ничего!

Лежит Иван-царевич мёртвый, над ним уж вороны летают. Откуда ни возьмись прибежал серый волк и схватил ворона с воронёнком.

– Ты лети-ка, ворон, за живой и мёртвой водой. Принесёшь мне живой и мёртвой воды, тогда отпущу твоего воронёнка.

Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его воронёнка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принёс он живой и мёртвой воды. Серый волк спрыснул мёртвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой – Иван-царевич ожил.

– Ох, крепко же я спал!..

– Крепко ты спал, – говорит серый волк. – Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей.

Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал.

Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно.

Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привёз отцу своему Жар-птицу, а себе – невесту, Елену Прекрасную.

Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал.

Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать да горя не знать.

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (русская народная сказка)

Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка.

Старик со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки.

Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они

по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить.

– Сестрица Алёнушка, я пить хочу!

– Подожди, братец, дойдём до колодца.

Шли-шли, – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы.

– Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!

– Не пей, братец, телёночком станешь!

Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы.

– Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!

– Не пей, братец, жеребёночком станешь!

Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце полно водицы.

Иванушка говорит:

– Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца!

– Не пей, братец, козлёночком станешь!

Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козлёночком…

Зовёт Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек.

Залилась Алёнушка слезами, села на стожок – плачет, а козлёночек возле неё скачет.

В ту пору ехал мимо купец:

– О чем, красная девица, плачешь?

Рассказала ему Алёнушка про свою беду. Купец ей и говорит:

– Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козлёночек будет жить с нами.

Алёнушка подумала, подумала и пошла за купца замуж.

Стали они жить-поживать, и козлёночек с ними живёт, ест-пьёт с Алёнушкой из одной чашки.

Один раз купца не было дома. Откуда не возьмись приходит ведьма: стала под Алёнушкино окошко и так-то ласково начала

звать её купаться на реку.

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на неё, привязала Алёнушке на шею камень и бросила её в воду. А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась в её платье и пришла в её хоромы.

Никто ведьму не распознал. Купец вернулся – и тот не распознал.

Одному козлёночку всё было ведомо. Повесил он голову, не пьёт, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовёт:

– Алёнушка, сестрица моя!.. Выплынь, выплынь на бережок…

Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: зарежь да зарежь козлёнка…

Купцу жалко было козлёночка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает, – делать нечего, купец согласился:

– Ну, зарежь его…

Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные.

Козлёночек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому отцу:

– Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки прополоскать.

– Ну, сходи.

Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнёхонько закричал:

– Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!
Алёнушка из реки ему отвечает:
– Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёл камень на дно тянет,
Шёлкова трава ноги спутала,
Жёлты пески на груди легли.

А ведьма ищет козлёночка, не может найти и посылает слугу:

– Пойди найди козлёнка, приведи его ко мне.

Пошёл слуга на реку и видит: по берегу бегает козлёночек и жалобнёшенько зовет:

– Алёнушка, сестрица моя!

Выплынь, выплынь на бережок.
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!
А из реки ему отвечают:
– Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёл камень на дно тянет,
Шёлкова трава ноги спутала,
Жёлты пески на груди легли.

Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке.

Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шёлковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули её в ключевую воду, одели её в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем была.

А козлёночек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой.

Ведьму привязали к лошадиному хвосту, и пустили в чистое поле.

Сивка-бурка (русская народная сказка)

Было у старика трое сыновей: двое умных, а третий Иванушка-дурачок – день и ночь на печи валяется.

Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да повадился ту пшеницу кто-то по ночам топтать. Вот старик и говорит детям:

– Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь поочерёдно, поймайте мне вора.

Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать: забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: всю ночь-де не спал, иззяб, а вора не видал.

На вторую ночь пошёл средний сын и также всю ночку проспал на сеновале.

На третью ночь приходит черёд дураку идти. Взял он аркан и пошёл. Пришёл на межу и сел на камень: сидит – не спит, вора дожидается.

В самую полночь прискакал в пшеницу разношёрстный конь: одна шерстинка золотая, другая – серебряная, бежит – земля

дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть: не столько ест, сколько топчет.

Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею аркан. Рванулся конь изо всех сил – не тут-то было. Дурак упёрся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака молить:

– Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу службу!

– Хорошо, – отвечает Иванушка-дурачок. – Да как я тебя

потом найду?

– Выйди за околицу, – говорит конь, – свистни три раза и крикни: «Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» – я тут и буду.

Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово – пшеницы больше не есть и не топтать. Пришёл Иванушка домой.

– Ну что, дурак, видел? – спрашивают братья.

– Поймал я, – говорит Иванушка, – разношёрстного коня. Пообещался он больше не ходить в пшеницу – вот я его и отпустил.

Посмеялись вволю братья над дураком, но только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал.

Скоро после этого стали по деревням и городам бирючи (глашатаи) от царя ходить, клич кликать: собирайтесь-де, бояре и дворяне, купцы и мещане и простые крестьяне, все к царю на праздник, на три дня; берите с собой лучших коней; и кто на своём коне до царевнина терема доскочит и с царевниной руки перстень снимет, за того царь царевну замуж отдаст.

Стали собираться на праздник и Иванушкины братья: не то чтобы уж самим скакать, а хоть на других посмотреть. Просится и Иванушка с ними.

– Куда тебе, дурак! – говорят братья. – Людей, что ли, хочешь пугать? Сиди себе на печи да золу пересыпай.

Уехали братья, а Иванушка-дурачок взял у невесток лукошко и пошёл грибы брать. Вышел Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул три раза и крикнул:

– Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!

Конь бежит – земля дрожит, из ушей пламя, из нозрей дым столбом валит. Прибежал – и стал конь перед Иванушкой как вкопанный.

– Ну, – говорит, – влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай.

Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез – и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать.

Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к царю. Прискакал на площадь перед дворцом, видит – народу видимо-невидимо; а в высоком терему, у окна, царевна сидит: на руке перстень – цены нет, собой красавица из красавиц. Никто до неё скакать и не думает: никому нет охоты наверняка шею ломать.

Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бёдрам, осерчал конь, прыгнул – только на три венца до царевнина окна не допрыгнул.

Удивился народ, а Иванушка повернул коня и поскакал назад. Братья его не скоро посторонились, так он их шёлковой плёткой хлестнул. Кричит народ: «Держи, держи его!» – а Иванушкин уж и след простыл.

Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое ухо, в правое вылез и стал опять прежним Иванушкой-дурачком. Отпустил Иванушка коня, набрал лукошко мухоморов и принёс домой.

– Вот вам, хозяюшки, грибков, – говорит.

Рассердились тут невестки на Ивана:

– Что ты, дурак, за грибы принёс? Разве тебе одному их есть!

Усмехнулся Иван и опять залез на печь.

Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в городе были и что видели, а Иванушка лежит на печи да посмеивается.

На другой день старшие братья опять на праздник поехали, а Иванушка взял лукошко и пошёл за грибами. Вышел в поле, свистнул, гаркнул:

– Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!

Прибежал конь и встал перед Иванушкой как вкопанный.

Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит – на площади народу ещё больше прежнего; все на царевну любуются, а прыгать никто не думает: кому охота шею ломать! Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бёдрам, осерчал конь, прыгнул – и только на два венца до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул братьев, чтоб посторонились, и ускакал.

Приходят братья домой, а Иванушка уже на печи лежит, слушает, что братья рассказывают, и посмеивается.

На третий день братья опять поехали на праздник, прискакал и Иванушка. Стегнул он своего коня плёткой. Осерчал конь пуще прежнего: прыгнул – и достал до окна. Иванушка поцеловал царевну и ускакал, не позабывши братьев плёткой огреть. Тут уж и царь и царевна стали кричать: «Держи, держи его!» – а Иванушкин и след простыл.

Пришёл Иванушка домой – одна рука тряпкой обмотана.

– Что это у тебя такое? – спрашивают Ивана невестки.

– Да вот, – говорит, – искавши грибов, сучком накололся. – И полез Иван на печь.

Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось на перстенёк посмотреть: как приподнял он тряпку, избу всю так и осияло.

– Перестань, дурак, с огнём баловать! – крикнули на него братья. – Ещё избу сожжёшь. Пора тебя, дурака, совсем из дому прогнать!

Дня через три идёт от царя клич, чтобы весь народ, сколько ни есть в его царстве, собирался к нему на пир и чтобы никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром побрезгует – тому голову с плеч.

Нечего тут делать, пошёл на пир сам старик со всей семьей.

Пришли, за столы дубовые посадилися; пьют и едят, речи гуторят.

В конце пира стала царевна мёдом из своих рук гостей обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке последнему; а на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука грязной тряпкой завязана… просто страсть.

– Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана? – спрашивает царевна. – Развяжи-ка.

Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень – так всех и осиял.

Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит:

– Вот, батюшка, мой суженый.

Умыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское платье, и стал он таким молодцом, что отец и братья глядят – и глазам своим не верят.

Тут ждать да рассуждать не стали – весёлым пирком да за свадебку!

И я на том пиру был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.

Русская поэзия XIX–XX веков

Бальмонт К. Д.
Осень

Вы умрёте, стебли трав,
Вы вершинами встречались,
В лёгком ветре вы качались,
Но, блаженства не видав,
Вы умрёте, стебли трав.

В роще шелест, шорох, свист
Тихий, ровный, заглушённый,
Отдалённо-приближённый.
Умирает каждый лист,
В роще шелест, шорох, свист.

Сонно падают листы,
Смутно шепчутся вершины,
И берёзы, и осины.
С изменённой высоты
Сонно падают листы.

Бунин И. А.
Густой зелёный ельник у дороги…

Густой зелёный ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шёл олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёб –
И много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след размеренный и редкий,
И вдруг – прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон – и ветки,
Обитые рогами на бегу…

О, как легко он уходил долиной!

Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!

Бунин И. А.
Детство

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок – как шёлк… Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол – гигант, тяжёлый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

Бунин И. А.
Полевые цветы

В блеске огней, за зеркальными стёклами,
Пышно цветут дорогие цветы,
Нежны и сладки их тонкие запахи,
Листья и стебли полны красоты.

Их возрастили в теплицах заботливо,
Их привезли из-за синих морей;
Их не пугают метели холодные,
Бурные грозы и свежесть ночей…

Есть на полях моей родины скромные
Сёстры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майской лесов и лугов.

Видят они не теплицы зеркальные,
А небосклона простор голубой,

Видят они не огни, а таинственный
Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотою стыдливою,
Сердцу и взору родные они
И говорят про давно позабытые
Светлые дни.

Лермонтов М. Ю.
Два великана

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далёких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нём рассказ;
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришёл с грозой военной
Трехнедельный удалец,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел – тряхнул главою…
Ахнул дерзкий – и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

Лермонтов М. Ю.
Осень

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели

Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
Зверь отважный поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

Лермонтов М. Ю.
Утёс

Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Майков А. Н.
Весна («Голубенький, чистый…»)

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок!
А подле сквозистый,
Последний снежок…

Последние слёзы
О горе былом
И первые грёзы
О счастьи ином…

Майков А. Н.
Весна («Уходи, зима седая!..»)

Уходи, зима седая!

Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горней вышины!

Старой спорить ли, тщедушной,
С ней – царицею цветов,
С целой армией воздушной
Благовонных ветерков!

А что шума, что гуденья,
Тёплых ливней и лучей,
И чиликанья, и пенья!..
Уходи себе скорей!

У неё не лук, не стрелы,
Улыбнулась лишь – и ты,
Подобрав свой саван белый,
Поползла в овраг, в кусты!..

Да найдут и по оврагам!
Вон – уж пчёл рои шумят,
И летит победным флагом
Пёстрых бабочек отряд!

Майков А. Н.
Колыбельная песня

Спи, дитя моё, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Улетел орёл домой;
Солнце скрылось под водой;
Ветер, после трёх ночей,
Мчится к матери своей.

Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?
Али звёзды воевал?
Али волны всё гонял?»

«Не гонял я волн морских,

Звёзд не трогал золотых;
Я дитя оберегал,
Колыбелочку качал!»

Майков А. Н.
Ласточка примчалась

Ласточка примчалась
Из-за бела моря,
Села и запела:
Как, февраль, не злися,
Как ты, март, не хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик –
Всё весною пахнет!

Майков А. Н.
Летний дождь

«Золото, золото падает с неба!» –
Дети кричат и бегут за дождём…
– Полноте, дети, его мы сберём,
Только сберём золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба!

Некрасов Н. А.
Дедушка Мазай и зайцы

1

В августе, около Малых Вежей,
С старым Мазаем я бил дупелей.
Как-то особенно тихо вдруг стало,
На небе солнце сквозь тучу играло.
Тучка была небольшая на нём,
А разразилась жестоким дождём!
Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые
С силой стремительной… Я и Мазай,

Мокрые, скрылись в какой-то сарай.
Дети, я вам расскажу про Мазая.
Каждое лето домой приезжая,
Я по неделе гощу у него.
Нравится мне деревенька его:
Летом её убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,
Вся она тонет в зелёных садах;
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.
Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему – скука!
За сорок вёрст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему нипочём:
«Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно». – «А леший?» – «Не верю!
Раз в кураже я их звал-поджидал
Целую ночь, – никого не видал!
За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;
Вечером пеночка нежно поёт,
Словно как в бочку пустую удод
Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точёны, рисованы очи.
Ночью… ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.
Тихо как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,
Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит…»
Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,
Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять.
Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка, – заяц уходит,
Дедушка пальцем косому грозит:
«Врёшь – упадёшь!» – добродушно кричит.
Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:
Кузя сломал у ружьишка курок,

Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом – тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит – и грянет!
Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.
«Что ты таскаешь горшок с угольками?»
– «Больно, родимый, я зябок руками;
Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружьё положу,
Над уголёчками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею!»
«Вот так охотник!» – Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.
Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)
Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал…

2

Старый Мазай разболтался в сарае:
«В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями её не ловили,
Кабы силками её не давили;
Зайцы вот тоже, – их жалко до слёз!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, –
Нет! ещё мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?.. Я раз за дровами
В лодке поехал – их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, –
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой –
Зайцы на нём собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,

Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, – ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
«То-то! – сказал я, – не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя, плывём в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка.
Взял и его – тягота невелика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха –
Еле жива, а толста как купчиха!
Я её, дуру, накрыл зипуном –
Сильно дрожала… Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло,
Сидя, и стоя, и лёжа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нём.
«Взял бы я вас – да потопите лодку!»
Жаль их, однако, да жаль и находку –
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок…
Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
«Глянь-ко: что делает старый Мазай!»
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил – и «с богом!» сказал…

И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: «У-х!
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
Не попадайся!
Прицелюсь – бух!
И ляжешь… Ууу-х!..»

Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось –
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал – и домой приволок,
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул – и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
«Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая. – линяет косой…»

Некрасов Н. А.
Перед дождём

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет тёмный лес.
На ручей, рябой и пёстрый,
За листком летит листок,
И струёй сухой и острой
Набегает холодок.
Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.
Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перёд закрыт;
И «пошёл!» – привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит…

Некрасов Н. А.
Славная осень (отрывок из стихотворения «Железная дорога»)

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно – покой и простор!
Листья поблекнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни…
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни –
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю…
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою…

Никитин И. С.
Встреча зимы

Поутру вчера дождь
В стёкла окон стучал,
Над землёю туман
Облаками вставал.

Веял холод в лицо
От угрюмых небес,
И, Бог знает о чём,
Плакал сумрачный лес.

В полдень дождь перестал,
И, что белый пушок,
На осеннюю грязь
Начал падать снежок.

Ночь прошла. Рассвело.
Нет нигде облачка.
Воздух лёгок и чист,
И замёрзла река.

На дворах и домах
Снег лежит полотном
И от солнца блестит
Разноцветным огнём.

На безлюдный простор
Побелевших полей
Смотрит весело лес

Из-под чёрных кудрей,

Словно рад он чему, –
И на ветках берёз,
Как алмазы, горят
Капли сдержанных слёз.

Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям.

Есть раздолье у нас, –
Где угодно гуляй;
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.

Нам не стать привыкать, –
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит!

Искони уж таков
Православный народ:
Летом, смотришь, жара –
В полушубке идёт;

Жгучий холод пахнул –
Всё равно для него:
По колени в снегу,
Говорит: «Ничего!»

В чистом поле метель
И крутит, и мутит, –
Наш степной мужичок
Едет в санках, кряхтит:

«Ну, соколики, ну!
Выносите, дружки!»
Сам сидит и поёт:
«Не белы-то снежки!..»

Да и нам ли подчас
Смерть не встретить шутя,

Если к бурям у нас
Привыкает дитя?

Когда мать в колыбель
На ночь сына кладёт,
Под окном для него
Песни вьюга поёт.

И разгул непогод
С ранних лет ему люб,
И растёт богатырь,
Что под бурями дуб.

Рассыпай же, зима,
До весны золотой
Серебро по полям
Нашей Руси святой!

И случится ли, к нам
Гость незваный придёт
И за наше добро
С нами спор заведёт –

Уж прими ты его
На сторонке чужой,
Хмельный пир приготовь,
Гостю песню пропой;

Для постели ему
Белый пух припаси
И метелью засыпь
Его след на Руси!

Никитин И. С.
Утро

Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Дремлет чуткий камыш. Тишь, безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.

Куст заденешь плечом – на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Потянул ветерок, – воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися.
Далеко-далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалаше пробудилися,
Сняли сети с шестов, вёсла к лодкам несут…
А восток всё горит-разгорается.
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается.
Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит;
За морями покой свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракит
Золотыми потоками хлынуло.
Едет пахарь с сохой, едет – песню поёт,
По плечу молодцу всё тяжёлое…
Не боли ты, душа, отдохни от забот!
Здравствуй, солнце, да утро весёлое!

Плещеев А. Н.
Весна («Опять весной в окно моё пахнуло…»)

Опять весной в окно моё пахнуло,
И дышится отрадней и вольней…
В груди тоска гнетущая заснула,
Рой светлых дум идёт на смену ей.
Сошли снега… Оковы ледяные
Не тяготят сверкающей волны…
И плуга ждут далёкие, немые
Поля моей родимой стороны.
О, как бы мне из этих комнат душных
Скорей туда хотелось – на простор,
Где нету фраз трескучих и бездушных,
Где не гремит витий продажных хор.
В поля! в поля! знакомая природа
К себе красой стыдливою манит…
В поля! там песнь воскресшего народа
Свободная и мощная звучит

Плещеев А. Н.
Весна («Уж тает снег…»)

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждёт чего-то,
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы!

Все лица весело глядят.
«Весна!» – читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь – лишь тяжкий труд и горе.

Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят – кто больше всех
Природы любит обновленье!

Пушкин А. С.
Зимний вечер

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,

Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Пушкин А. С.
Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Весёлым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,

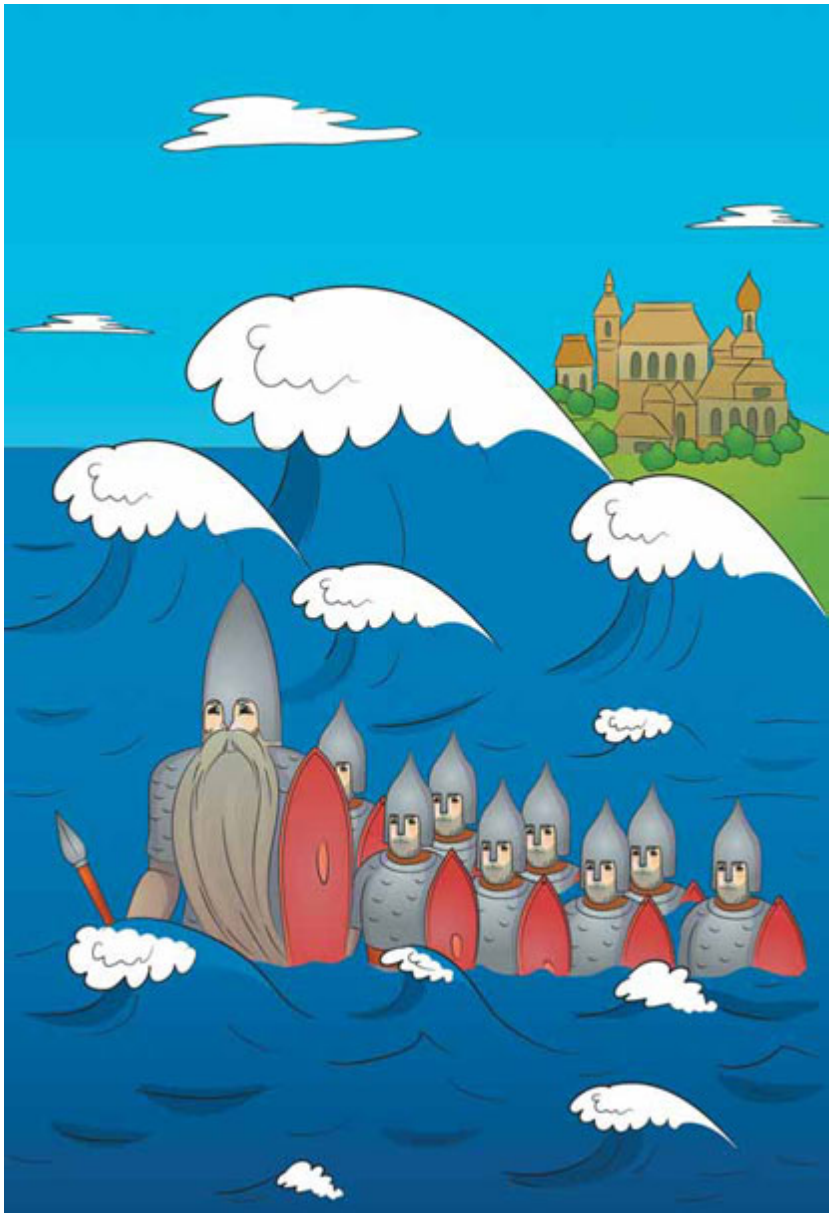
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

Пушкин А. С.

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир».
– «Кабы я была царица, –
Говорит её сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
– «Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».



В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых

И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьётся долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребёнком
Как орлица над орлёнком;
Шлёт с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,
Что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царёва возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую –
И привёз гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.

Объявили царску волю –
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян –
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьётся в ней царица;
И растёт ребёнок там
Не по дням, а по часам.
День прошёл, царица вопит…
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»

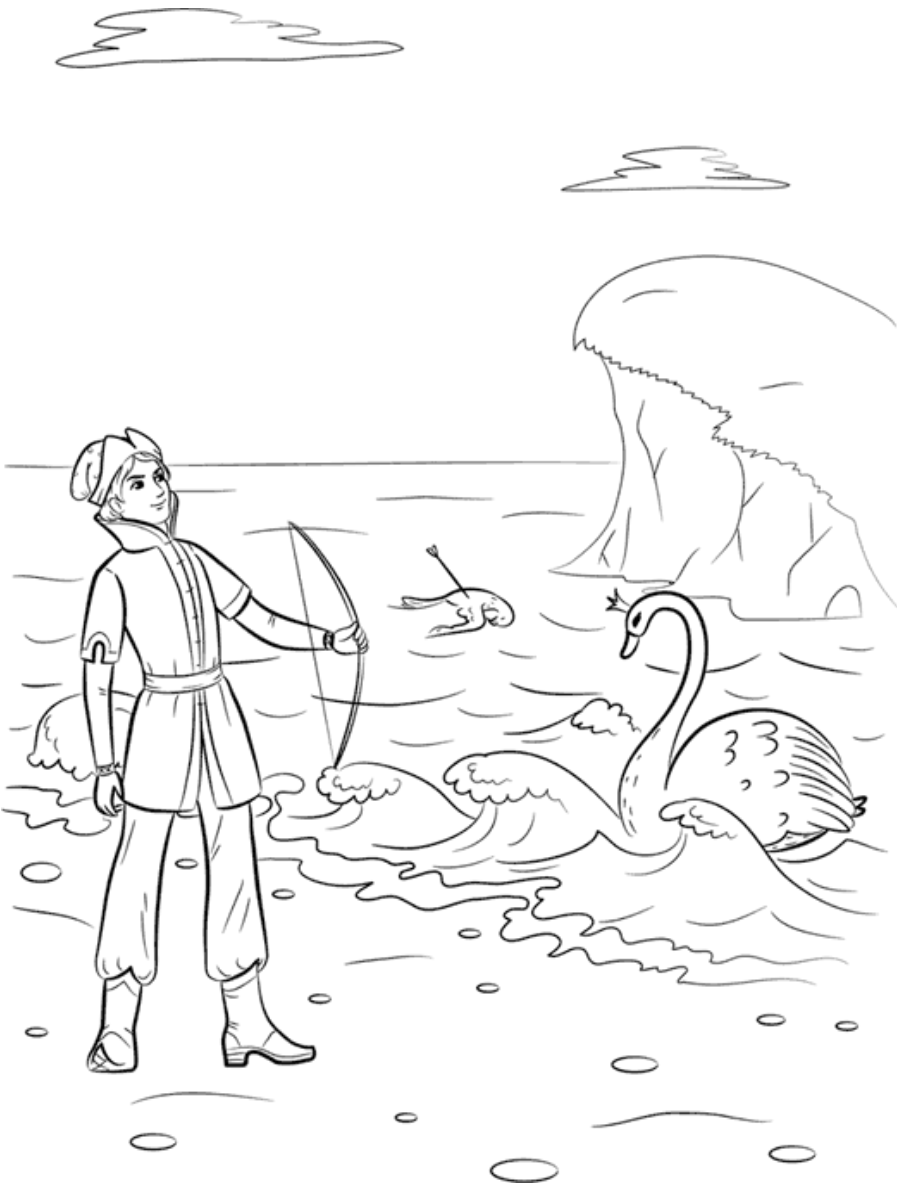
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошёл на край долины
У моря искать дичины.
К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон…
Видно на море не тихо;
Смотрит – видит дело лихо:
Бьётся лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет…
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил…
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела –
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет

И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывёт,
Злого коршуна клюёт,
Гибель близкую торопит,
Бьёт крылом и в море топит –
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе – всё не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдёшь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? –
Говорит он, – вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:

К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают



Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;

И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарёкся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –

Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чём горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблём?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль – и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нём князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право, –
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, –
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поёт
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится –
И впился комар как раз
Тётке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко,
Да спокойно в свой удел

Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка –
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободрённою душой
Князь пошёл себе домой;
Лишь ступил на двор широкий –
Что ж? под ёлкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызёт орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладёт
И с присвисточкой поёт
При честном при всём народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо, – молвил он, –
Ай да лебедь – дай ей боже,
Что и мне, веселье то же».

Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счёт орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

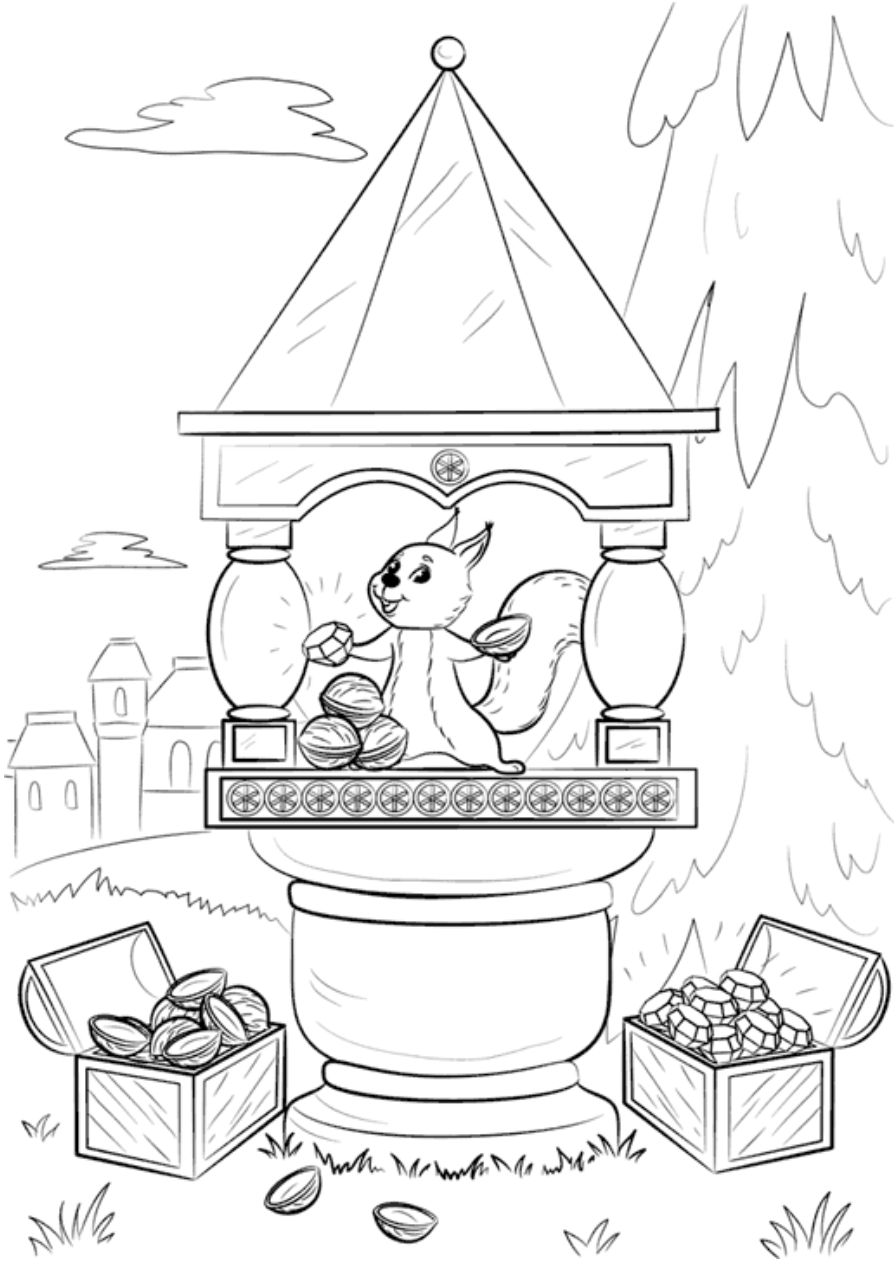
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок –
И лежит нам путь далёк:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлёт царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь – а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит…
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:

В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль – и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана –
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо,
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной –
И приставлен дьяк приказный
Строгий счёт орехам весть;
Отдаёт ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызёт,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;



Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится…
Зажужжал он и как раз
Тётке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави её, дави…
Вот ужо! постой немножко,
Погоди…» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает –
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел».
«А какое ж это диво?»
– Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,

Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».
Князь пошёл, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт
И ко граду их ведёт.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли».
Все потом домой ушли.
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,

Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте?
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлёт-де свой царю поклон».
Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит…
Так и тянет и уносит…
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму – и в щель забился.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.

Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят –
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идёт там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в скором беге –
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить –
И той стражи нет надёжней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.

«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу – но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают, или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идёт молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится –
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится –
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави…
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Неженат лишь я хожу».
– А кого же на примете
Ты имеешь? – «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнёшь,
Да за пояс не заткнёшь.
Услужу тебе советом –
Слушай: обо всём об этом
Поразмысли ты путём,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всём
Передумал он путём;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.

Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта – я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведёт её скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далёк:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался –
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовёт их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своём венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает

За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нём живёт ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там ещё другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор –
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надёжней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,

Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? царь или дитя? –
Говорит он не шутя, –
Нынче ж еду!» – Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идёт Гвидон;

Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повёл царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под ёлкою высокой
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале – торопливо
Смотрят – что ж? княгиня – диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведёт.
Царь глядит – и узнаёт…
В нём взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?
Как!» – и дух в нём занялся…
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И весёлый пир пошёл.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всём они признались,
Повинились, разрыдались;

Царь для радости такой
Отпустил всех трёх домой.
День прошёл – царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мёд, пиво пил –
И усы лишь обмочил.

Пушкин А. С.
Уж небо осенью дышало

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Толстой А. К.
Вот уж снег последний в поле тает…

Вот уж снег последний в поле тает,
Тёплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.

Юный лес, в зелёный дым одетый,
Тёплых гроз нетерпеливо ждёт;
Всё весны дыханием согрето,
Всё кругом и любит и поёт;

Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звёзды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?

Трудно жить тебе, мой друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю

И земной весны тебе не жаль…

Толстой А. К.
Звонче жаворонка пенье

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив.

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землёй.

Тютчев Ф. И.
Зима недаром злится

Зима недаром злится,
Прошла её пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И всё засуетилось,
Всё нудит Зиму вон –
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит:
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

Тютчев Ф. И.
Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный –
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Фет А. А.
Ласточки пропали…

Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.

С вечера всё спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится

Да стучит в окно.

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.

Выйдешь – поневоле
Тяжело – хоть плачь!
Смотришь – через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.

Фет А. А.
Мама! глянь-ка из окошка…

Мама! глянь-ка из окошка –
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело –
Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий
По ветвям развешен иней –
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:
За салазки да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

Рассказы и сказки русских писателей

Аксаков С. Т.
Аленький цветочек (в переложении)

Жил-был богатый купец и было у него три дочери-красавицы, а меньшая, Настенька, любимее всех.

Как-то стал собираться он по торговым делам за море. Позвал дочерей и спрашивает: «Что привезти вам в подарок?». Старшая попросила золотой венец из каменьев самоцветных, чтоб был от них свет; средняя зеркало из хрусталя восточного, чтоб смотрясь в него не старилась, а краса прибавлялась; а младшенькая аленький цветочек, краше которого не было бы на свете.

Отправился купец в путь. Продаёт свои товары втридорога, покупает чужие втридёшева, «меняет товар на товар со придачею серебра да золота».

Старшей и средней дочерям купил он подарки, а младшей нет. Видел он цветочки аленькие, а краше ли они всех на свете не знал.

По пути домой напали на караван разбойники. Купец, спасаясь от них, убежал в лес. Шёл он по лесу и вдруг видит: стоит дворец весь в огнях, серебре, золоте. Зашёл в него, а там всё убрано, богато.

Пошёл купец гулять по садам диковинным и, вдруг, увидел цветочек аленький, краше которого нет. Сорвал он его и вмиг появилось чудище страшное, лохматое. Рассказал ему купец, для кого он сорвал цветочек аленький. Не тронуло его чудище, а отпустило домой, но должен был воротиться он или дочь его по своей воле.

Дало чудище ему перстень. Купец надел на правый мизинец и дома оказался.

Рассказал всё дочерям. Дочери порешили: «Пусть та выручает отца, для которой он сорвал аленький цветочек». Надела младшая дочь перстень на правый мизинец и вмиг оказалась во дворце богатом.

Хорошо ей там жилось, но очень захотелось доброе чудище увидеть и услышать. Согласилось чудище, но Настенька, увидев его, сильно испугалась и тем чуть не погубила его.

Сумела-таки побороть страх свой. И жили дальше они весело и дружно. Но вот приснился Настеньке сон, что отец нездоров. Отпустило её чудище домой на три дня. Но строго наказало воротиться в срок, иначе умрёт чудище.

Дома сестрицы позавидовали, что живёт Настенька в богатстве, и перевели они все часы назад на один час и ставни закрыли. В нужный час защемило сердце у Настеньки. Не дождавшись минутки (по домашним часам), вернулась она во дворец. А зверь около цветочка аленького мёртвый лежал.

Зарыдала Настенька: «Ты встань, пробудись, я люблю тебя, как жениха своего желанного!»

От этих слов ожило чудище и превратилось в прекрасного молодого принца.

Сказал он: «Настенька. Заколдован я был в детстве злой волшебницей. Ты полюбила меня за душу добрую, за любовь мою, и колдовство закончилось».

Поженились они с Настенькой и жили долго и счастливо.

Гаршин В. М.
Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно – конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! – думала она. – Какое это наслаждение – жить на свете!»

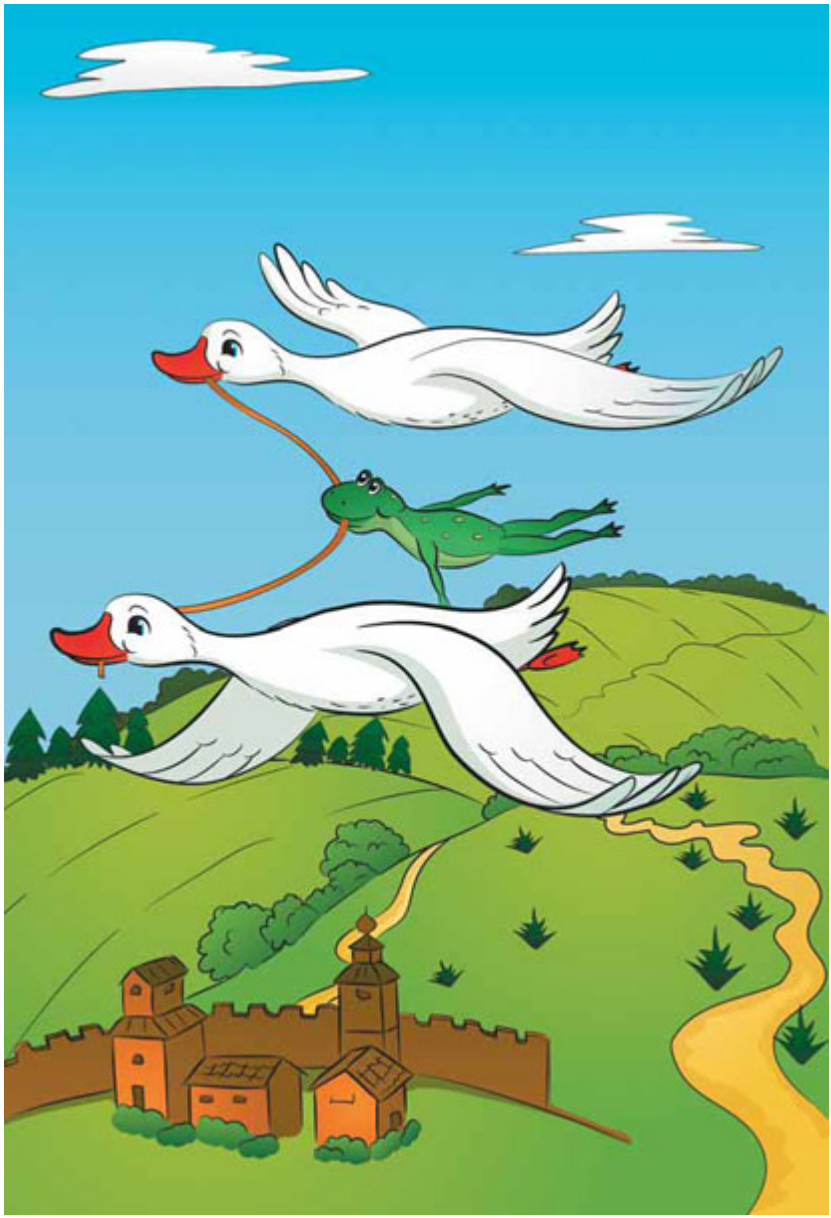
Дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, – на это есть весна, – и что, заквакав, она может уронить своё лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью – раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

– Кря, кря! – сказала одна из них, – Лететь ещё далеко; надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть её, большую и толстую квакушку, но всё-таки, на

всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.



– Кря, кря! – сказала другая утка, – уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

– Госпожи утки! – осмелилась сказать лягушка, – что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

– Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-таки спросила, потому что была осторожна:

– А много ли там мошек и комаров?

– О! целые тучи! – отвечала утка.

– Ква! – сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

– Возьмите меня с собой!

– Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев.

– Когда вы летите? – спросила лягушка.

– Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! кря! кря! Тут холодно! На юг! На юг!

– Позвольте мне подумать только пять минут, – сказала лягушка, – я сейчас вернусь, я наверно придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась её морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

– Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и лёгкую лягушку три тысячи вёрст не бог знает какое удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести её. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да ещё столько, да полстолько, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести её приходилось не особенно часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли

его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую её подняли; кроме того, утки летели неровно и дёргали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя.

А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и хвалили её.

– Удивительно умная голова наша лягушка, – говорили они, – даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, ещё крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: нёсшие её утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что об ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

– Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

– Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне, – утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у неё прыгало сердце.

– Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне взрослые, – вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала

квакушка.

– Смотрите, смотрите! – кричали в третьей деревне. – Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

– Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло:

– Это я! Это я придумала!

Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные тёплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

– Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте, – сказала она. – Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её.

Куприн А. И.
Слон

1

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою ещё двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и

говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор – высокий, седой, в золотых очках – рассказывает ей о чём-то серьёзно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с её кровати всё видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идёт о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

– Главное, – не давайте ей скучать. Исполняйте все её капризы.

– Ах, доктор, но она ничего не хочет!

– Ну, не знаю… вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки… какие-нибудь лакомства…

– Нет, нет, доктор, она ничего не хочет…

– Ну, постарайтесь её как-нибудь развлечь… Ну, хоть чем-нибудь… Даю вам честное слово, что если вам удастся её рассмешить, развеселить, – то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем… До свидания, сударыня!

2

– Милая Надя, милая моя девочка, – говорит мама, – не хочется ли тебе чего-нибудь?

– Нет, мама, ничего не хочется.

– Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

– Спасибо, мама… Мне не хочется… Мне скучно…

– Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

– Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

– Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невесёлыми глазами. У неё ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днём. Что бы с ней ни делали, ей всё равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из

угла в угол и всё курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встаёт и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет.

Потом он опять бегает из угла в угол и всё… курит, курит, курит… И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

3

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

– Тебе что-нибудь нужно? – спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шёпотом, точно по секрету:

– Мама… а можно мне… слона? Только не того, который нарисован на картинке… Можно?

– Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идёт в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

– Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мёртвый.

– Ты погляди только, Надя, – говорит папа. – Мы его сейчас заведём, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идёт по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

– Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки… Только… помнишь… ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона… и ни разу не повёз…

– Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах… И потом, где я его достану?

– Папа, да мне не нужно такого большого… Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого… Хоть слонёнышка.

– Милая девочка, я рад всё для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это всё равно как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

– Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжётся. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника… настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

– Я устала… Извини меня, папа…

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достаётся от мамы) и кричит горничной:

– Ольга! Пальто и шляпу! В переднюю выходит жена.

– Ты куда, Саша? – спрашивает она.

Он тяжело дышит, застёгивая пуговицы пальто.

– Я сам, Машенька, не знаю куда… только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

– Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

– Я совсем не спал, – отвечает он сердито. – Я вижу, ты хочешь спросить, не сошёл ли я с ума? Покамест нет ещё. До свиданья! Вечером всё будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

4

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как учёные звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки – одни в красных юбках, другие в синих штанишках – ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие, карлики, но всё-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжёлые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому

человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую чёрную сигару.

– Извините, пожалуйста, – говорит Надин отец. – Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет её опять в рот и только тогда произносит:

– Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова… Но отец поспешно объясняет, в чём дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днём, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят её развлекать, но ей ничто не нравится; велят исполнять все её желания, но у неё нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

– Ну вот… Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но… спаси бог… вдруг её болезнь окончится плохо… вдруг девочка умрёт?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил её последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

– Гм… А сколько вашей девочке лет?

– Шесть.

– Гм… Моей Лизе тоже шесть. Гм… Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придётся привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днём нельзя. Соберётся публикум, и сделается один скандал… Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

– О, конечно, конечно… не беспокойтесь об этом…

– Потом: позволит ли полиция водить один слон в один дом?

– Я это устрою. Позволит.

– Ещё один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить

в свой дом один слон?

– Позволит. Я сам хозяин этого дома.

– Ага! Это ещё лучше. И потом ещё один вопрос: в котором этаже вы живете?

– Во втором.

– Гм… Это уже не так хорошо… Имеете ли вы в своём доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

– Знаете ли что? – говорит он. – Поедем сейчас ко мне и рассмотрим всё на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

– Очень хорошо! – соглашается хозяин зверинца.

5

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на неё внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул её через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идёт среди толпы и уговаривает её:

– Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

– Надо дать ему какое-нибудь лакомство… – говорит немец. – Какой-нибудь сладкий булка или что… Но… Томми!.. Ого-го!.. Томми!

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой

круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец даёт ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой… Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

6

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

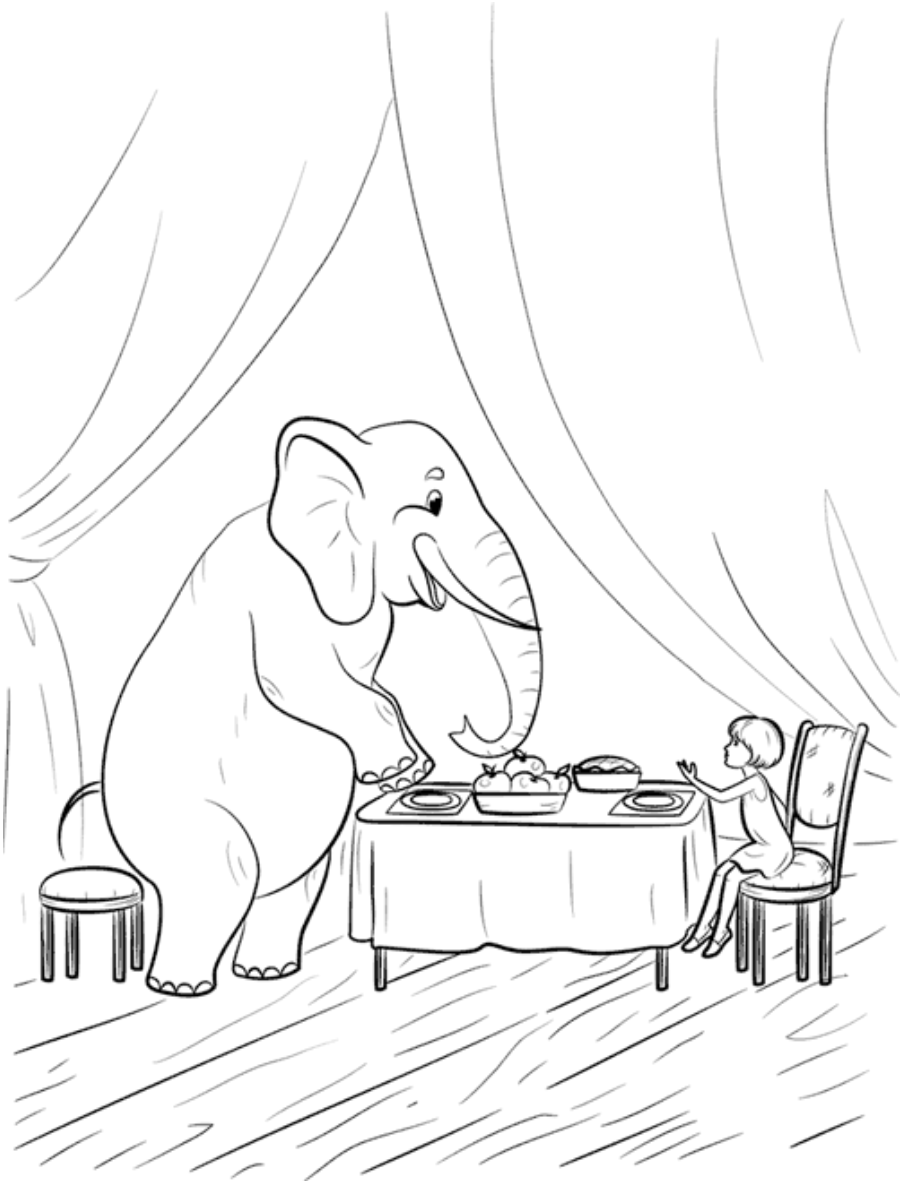
– А что же слон? Он пришёл?

– Пришёл, – отвечает мама, – но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

– А он добрый?

– Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдём к нему.

– А он смешной?



– Немножко. Надень тёплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была ещё такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем

крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот – точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы он им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

– Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

– Здравствуйте, как вы поживаете? – отвечает она. – Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

– Томми.

– Здравствуйте, Томми, – произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты». – Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берёт и пожимает её тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

– Ведь он всё понимает? – спрашивает девочка немца.

– О, решительно всё, барышня!

– Но только он не говорит?

– Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Её зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

– А вы, Томми, уже пили чай? – спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки тёплым сильным дыханием, отчего лёгкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеётся. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

– Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьёт сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет её куда-то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвёртой, и с пятой и в знак благодарности кивает

головой, и его маленькие глазки ещё больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

– Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла – это Соня. Она очень добрый ребёнок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа – Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это – Матрёшка. Это моя самая первая кукла. Видите, у неё нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но всё-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеётся, берёт Матрёшку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладёт её девочке на колени, правда немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

– Это лошадь, это канарейка, это ружьё… Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона… А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает её.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

– Позвольте, я всё это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон – разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону – теплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое – девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьёт пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их ещё в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

– Не бойтесь, он добрый! – успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако её невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и её уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как её раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми, и у них много детей, маленьких, весёлых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота…

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была ещё здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

– Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

– А слон?

Ей объясняют, что слон ушёл домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждёт её к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

– Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

Мамин-Сибиряк Д. Н.
Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост

Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнёт птица, упадёт с дерева ком снега, – у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

– Никого я не боюсь! – крикнул он на весь лес. – Вот не боюсь нисколько, и всё тут!

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи – все слушают, как хвастается Заяц – длинные уши, косые глаза, короткий хвост, – слушают и своим собственным ушам не верят. Не было ещё, чтобы заяц не боялся никого.

– Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

– И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь!

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые

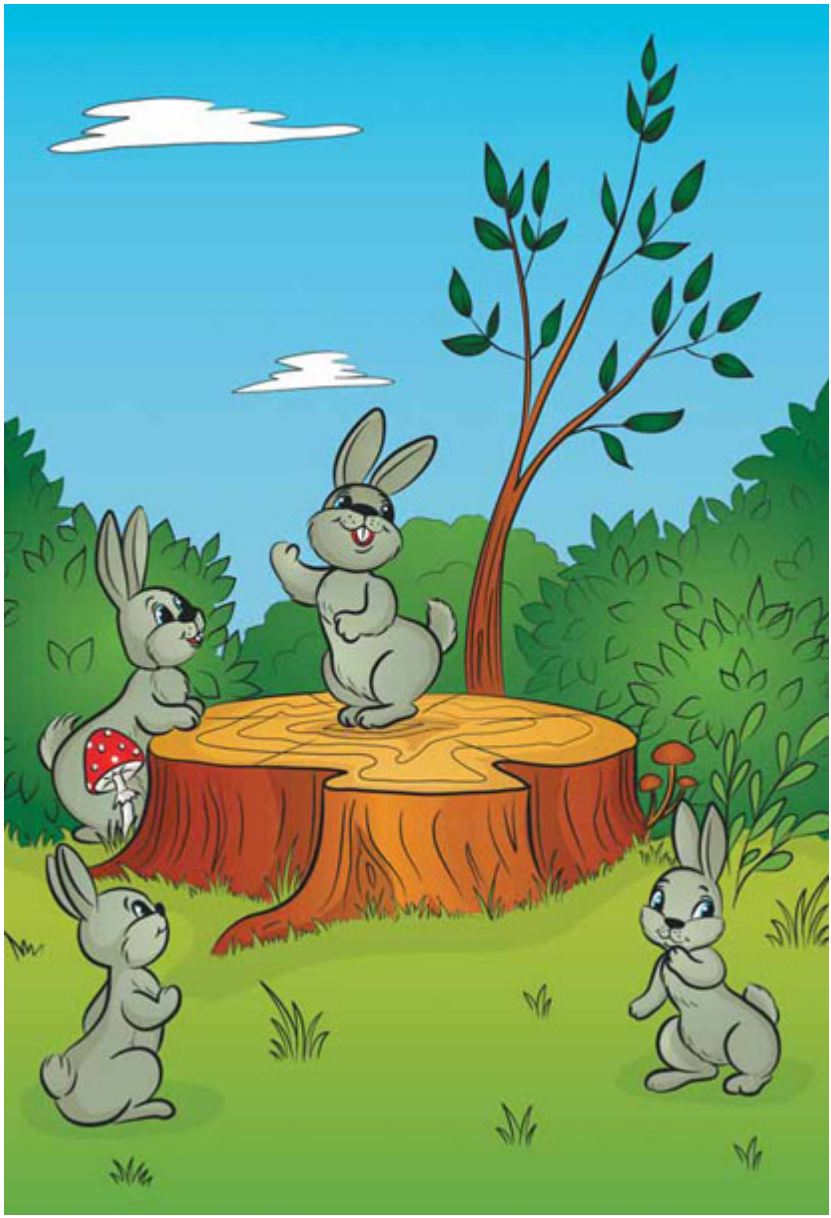
зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов.

Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело.

Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.

– Да что тут долго говорить! – кричал расхрабрившийся окончательно Заяц. – Ежели мне попадётся волк, так я его сам съем…

– Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он глупый!..



Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.

Кричат зайцы про волка, а волк – тут как тут.

Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчиком закусить!» – как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого Волка, поминают.

Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться.

Совсем близко подошёл волк к разыгравшимся зайцам,

слышит, как они над ним смеются, а всех больше – хвастун Заяц – косые глаза, длинные уши, короткий хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» – подумал серый Волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун Заяц взобрался на пенёк, уселся на задние лапки и заговорил:

– Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я… я… я…

Тут язык у хвастуна точно примёрз.

Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.

Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страху упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся ещё раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

Ему всё казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами.

Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный…

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенёк, кто завалился в ямку.

Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать кто похрабрее.

– А ловко напугал Волка наш Заяц! – решили все. – Если бы не он, так не уйти бы нам живыми… Да где же он, наш бесстрашный Заяц?..

Начали искать.

Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

– Молодец, косой! – закричали все зайцы в один голос. – Ай да косой!..

Ловко ты напугал старого Волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки,

встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

– А вы бы как думали! Эх вы, трусы…

С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что действительно никого не боится.

Баю-баю-баю…

Мамин-Сибиряк Д. Н.
Умнее всех

I

Индюк проснулся, по обыкновению, раньше других, когда ещё было темно, разбудил жену и проговорил:

– Ведь я умнее всех? Да?

Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже ответила:

– Ах, какой умный… Кхе-кхе!.. Кто же этого не знает? Кхе…

– Нет, ты говори прямо: умнее всех? Просто умных птиц достаточно, а умнее всех – одна, это я.

– Умнее всех… кхе! Всех умнее… Кхе-кхе-кхе!..

– То-то.

Индюк даже немного рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы:

– Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, совсем мало.

– Нет, это тебе так кажется… Кхе-кхе! – успокаивала его Индюшка, начиная поправлять сбившиеся за ночь пёрышки. – Да, просто кажется… Птицы умнее тебя и не придумать. Кхе-кхе-кхе!

– А Гусак? О, я всё понимаю… Положим, он прямо ничего не говорит, а больше всё молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает…

– А ты не обращай на него внимания. Не стоит… кхе! Ведь ты заметил, что Гусак глуповат?

– Кто же этого не видит? У него на лице написано: глупый гусак, и больше ничего. Да… Но Гусак ещё ничего, – разве можно сердиться на глупую птицу? А вот Петух, простой самый петух… Что он кричал про меня третьего дня? И ещё как кричал – все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым… Что-то в этом роде вообще.

– Ах, какой ты странный! – удивлялась Индюшка. – Разве ты не знаешь, отчего он вообще кричит?

– Ну, отчего?

– Кхе-кхе-кхе… Очень просто, и всем известно. Ты – петух, и он – петух, только он совсем-совсем простой петух, самый

обыкновенный петух, а ты – настоящий индейский, заморский петух, – вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом… Кхе-кхе-кхе!..

– Ну, это трудненько, матушка… Ха-ха! Ишь чего захотели! Какой-нибудь простой петушишка – и вдруг хочет сделаться индейским, – нет, брат, шалишь!.. Никогда ему не бывать индейским.

Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что Индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня, – не успел проснуться, а уж придумывает, с кем бы затеять ссору или даже и драку. Вообще самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над Индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы, но найдите птицу без недостатков? Вот то-то и есть! Таких птиц не бывает, и даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хотя самый маленький недостаток.

Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали:

– Ах-куда! Ах-куда-куда-куда… Мы есть хотим! Кухарка Матрёна, должно быть, умерла и хочет уморить нас с голоду…

– Господа, имейте терпение, – заметил стоявший на одной ноге Гусак. – Смотрите на меня: я ведь тоже есть хочу, а не кричу, как вы. Если бы я заорал на всю глотку… вот так… Го-го!.. Или так: и-го-го-го!

Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрёна сразу проснулась.

– Хорошо ему говорить о терпении, – ворчала одна Утка, – вон какое горло, точно труба. А потом, если бы у меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась скорее всех, а другим советовала бы терпеть… Знаем мы это гусиное терпение… Утку поддержал Петух и крикнул:

– Да, хорошо Гусаку говорить о терпении… А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно – хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поссорились, и я хотел Гусаку проклевать голову, – не отпираюсь, было такое намеренье, – но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа?

Голодные птицы, как голодные люди, делались несправедливыми именно потому, что были голодны.

II

Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрёна отгонит другую жадную птицу и позовёт его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне, около забора, и делал вид, что ищет что-то среди разного сора.

– Кхе-кхе… ах, как мне хочется кушать! – жаловалась Индюшка, вышагивая за мужем. – Вот уж Матрёна бросила овса… да… и, кажется, остатки вчерашней каши… кхе-кхе! Ах, как я люблю кашу!.. Я, кажется, всегда бы ела одну кашу, целую жизнь. Я даже иногда вижу её ночью во сне…

Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы Индюк непременно её жалел. Среди других птиц она походила на старушку: вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно ноги приделаны были к ней только вчера.

– Да, хорошо и каши поесть, – соглашался с ней Индюк. – Но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю? Если меня хозяин не будет кормить, я умру с голода… так? А где же он найдёт другого такого индюка?

– Другого такого нигде нет…

– Вот то-то… А каша, в сущности, пустяки. Да… Дело не в каше, а в Матрёне. Так я говорю? Была бы Матрёна, а каша будет. Всё на свете зависит от одной Матрёны – и овёс, и каша, и крупа, и корочки хлеба.

Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начинал испытывать муки голода.

Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрёна не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нём? Ведь это и совсем скверная штука…

Но тут случилось нечто такое, что заставило Индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула:

– Ах-куда!..

Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом:

«Ах-куда! куда-куда…» А всех сильнее, конечно, заорал Петух:

– Карраул!.. Кто там?

Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.

– Да это простой камень, – заметил кто-то.

– Он шевелился, – объяснила Курочка. – Я тоже думала, что камень, подошла, а он как пошевелится… Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает.

– Мало ли что может показаться со страха глупой курице, – заметил Индюк. – Может быть, это… это…

– Да это гриб! – крикнул Гусак. – Я видал точно такие грибы, только без игол.

Все громко рассмеялись над Гусаком.

– Скорее это походит на шапку, – попробовал кто-то догадаться и тоже был осмеян.

– Разве у шапки бывают глаза, господа?

– Тут нечего разговаривать попусту, а нужно действовать, – решил за всех Петух. – Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю… слышишь?

Так как ответа не было, то Петух счёл себя оскорблённым и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть раза два и сконфуженно отошёл в сторону.

– Это… это громадная репейная шишка, и больше ничего, – объяснил он.

– Вкусного ничего нет… Не желает ли кто-нибудь попробовать?

Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один Индюк. Что же, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул:

– Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть Индюк? Он всё знает…

– Конечно, знаю, – отозвался Индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу.

– А если знаешь, так скажи нам.

– А если я не хочу? Так, просто не хочу.

Все принялись упрашивать Индюка.

– Ведь ты у нас самая умная птица, Индюк! Ну скажи, голубчик… Чего тебе стоит сказать?

Индюк долго ломался и наконец проговорил:

– Ну хорошо, я, пожалуй, скажу… да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?

– Кто же не знает, что ты самая умная птица!.. – ответили все хором. – Так и говорят: умён, как индюк.

– Значит, вы меня уважаете?

– Уважаем! Все уважаем!..

Индюк ещё немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошёл мудрёного зверя три раза кругом и проговорил:

– Это… да… Хотите знать, что это?

– Хотим!.. Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.

– Это – кто-то куда-то ползёт…

Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье, и тоненький голосок сказал:

– Вот так самая умная птица!.. хи-хи…

Из-под игол показалась чёрненькая мордочка с двумя чёрными глазами, понюхала воздух и проговорила:

– Здравствуйте, господа… Да как же вы это Ежа-то не узнали, Ежа серячка-мужичка?.. Ах, какой у вас смешной Индюк, извините меня, какой он… Как это вежливее сказать?.. Ну, глупый Индюк…

III

Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанес Ёж Индюку. Конечно, Индюк сказал глупость, это верно, но из этого ещё не следует, что Ёж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо: прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а Индюк всё-таки важная, представительная птица и уж не чета какому-нибудь несчастному Ежу.

Все как-то разом перешли на сторону Индюка, и поднялся страшный гвалт.

– Вероятно, Ёж и нас всех тоже считает глупыми! – кричал Петух, хлопая крыльями.

– Он нас всех оскорбил!..

– Если кто глуп, так это он, то есть Ёж, – заявлял Гусак, вытягивая шею. – Я это сразу заметил… да!..

– Разве грибы могут быть глупыми? – отвечал Ёж.

– Господа, что мы с ним напрасно разговариваем! – кричал Петух. – Всё равно он ничего не поймёт… Мне кажется, мы только напрасно теряем время.

Да… Если, например, вы, Гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с Индюком уцепимся за его щетину с другой, – сейчас будет видно, кто умнее. Ведь ума не скроешь под глупой щетиной…

– Что же, я согласен… – заявил Гусак. – Ещё будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, Петух, будете его клевать прямо в морду… Так, господа? Кто умнее, сейчас и будет видно.

Индюк всё время молчал. Сначала его ошеломила дерзость Ежа, и он не нашёлся, что ему ответить. Потом Индюк рассердился, так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это видели и еще раз убедились, какая серьёзная и строгая птица Индюк. Он даже сделал несколько шагов к Ежу, страшно надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бранить Ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем всё кончится.

Когда Петух предложил тащить Ежа за щетину в разные стороны, Индюк остановил его усердие:

– Позвольте, господа… Может быть, мы устроим всё это дело миром… Да. Мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне всё дело…

– Хорошо, мы подождём, – неохотно согласился Петух, желавший подраться с Ежом поскорее. – Только из этого всё равно

ничего не выйдет…

– А уж это моё дело, – спокойно ответил Индюк. – Да вот слушайте, как я буду разговаривать…

Все столпились кругом Ежа и начали ждать. Индюк обошёл его кругом, откашлялся и сказал:

– Послушайте, господин Ёж… Объяснимтесь серьёзно. Я вообще не люблю домашних неприятностей.

«Боже, как он умён, как умён!..» – думала Индюшка, слушая мужа в немом восторге.

– Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе, – продолжал Индюк. – Это что-нибудь значит… да… Многие считают за честь попасть к нам на двор, но – увы! – это редко кому удаётся.

– Правда! Правда!.. – послышались голоса.

– Но это так, между нами, а главное не в этом…

Индюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал:

– Да, так главное… Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что Гусак, принявший вас за гриб, пошутил, и Петух тоже, и другие… Не правда ли, господа?

– Совершенно справедливо, Индюк! – крикнули все разом так громко, что Ёж спрятал свою чёрную мордочку.

«Ах, какой он умный!» – думала Индюшка, начинавшая догадываться в чём дело.

– Как видите, господин Ёж, мы все любим пошутить, – продолжал Индюк. – Я уж не говорю о себе… да. Отчего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин Ёж, тоже обладаете весёлым характером…

– О, вы угадали, – признался Ёж, опять выставляя мордочку. – У меня такой весёлый характер, что я даже не могу спать по ночам… Многие этого не выносят, а мне скучно спать.

– Ну, вот видите… Вы, вероятно, сойдётесь характером с нашим Петухом, который горланит по ночам как сумасшедший.

Всем вдруг сделалось весело, точно каждому для полноты жизни только и недоставало Ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда Ёж назвал его глупым и засмеялся прямо в лицо.

– Кстати, господин Ёж, признайтесь, – заговорил Индюк, подмигнув, – ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня… да… ну, неумной птицей?

– Конечно, пошутил! – уверял Ёж. – У меня уж такой характер весёлый!..

– Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа? – спрашивал Индюк всех.

– Слышали… Кто же мог в этом сомневаться!

Индюк наклонился к самому уху Ежа и шепнул ему по секрету:

– Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну… да… Только условие: никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделаете, если я – самая умная птица! Меня это иногда даже немного стесняет, но шила в мешке не утаишь… Пожалуйста, только никому об этом ни слова!..

Толстой Л. Н.
Акула

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топлённой печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» – и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему:

– Не выдавай! Понатужься!

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» – и все мы увидали в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

– Назад! Назад! Вернитесь! Акула! – закричал артиллерист. Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче прежнего.

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в неё и, сгибая вёсла, понеслись что было силы к мальчикам; но они были ещё далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.

Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные

стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза.

Но когда дым разошёлся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

Толстой Л. Н.
Лев и собачка

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул её лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её. Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.

Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и трогал её лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.

Толстой Л. Н.
Прыжок

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было – она знала, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину; но обезьяна ещё ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.

– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше.

Обезьяна опять подманила его, полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой за верёвку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину.

На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но как увидали, что он пустил

верёвку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружье, чтобы стрелять чаек. Он увидал сына на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал:

– В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю! Мальчик шатался, но не понимал.

– Прыгай, или застрелю!.. Раз, два… – и как только отец крикнул:

«три» – мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро шлёпнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как уже двадцать молодцов матросов спрыгнули с корабля в море.

Секунд через сорок – они долги показались всем – вынырнуло тело мальчика.

Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

3 класс

Лирическая поэзия XIX–XX веков

Бунин И. А.
Бушует полая вода

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно.
Грачей пролётные стада
Кричат и весело, и важно.

Дымятся чёрные бугры,
И утром в воздухе нагретом…
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут…
Что ярким солнечным теплом
По залу зайчики трепещут.

Бунин И. А.
Всё темней и кудрявей берёзовый лес…

Всё темней и кудрявей берёзовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зелёной цветут;
На рассвете в долинах теплом и черёмухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы…
Все цветёт и поёт, молодые надежды тая…
О весенние зори и тёплые майские росы!
О далёкая юность моя!

Есенин С. А.
Черёмуха

Черёмуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черёмуха душистая
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдаёт
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поёт.

Лермонтов М. Ю.
Из Гёте

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

Пушкин А. С.
Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На чёрный отдалённый путь:

Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.

Рубцов Н. М.
Воробей

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему…

Рубцов Н. М.
Коза

Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
– Как не стыдно тебе, егоза? –
И коза опустила глаза.
А когда разошёлся народ,
Побежала опять в огород.

Рубцов Н. М.
Сентябрь

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!

И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября…

Фет А. А.
Зреет рожь над жаркой нивой…

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.

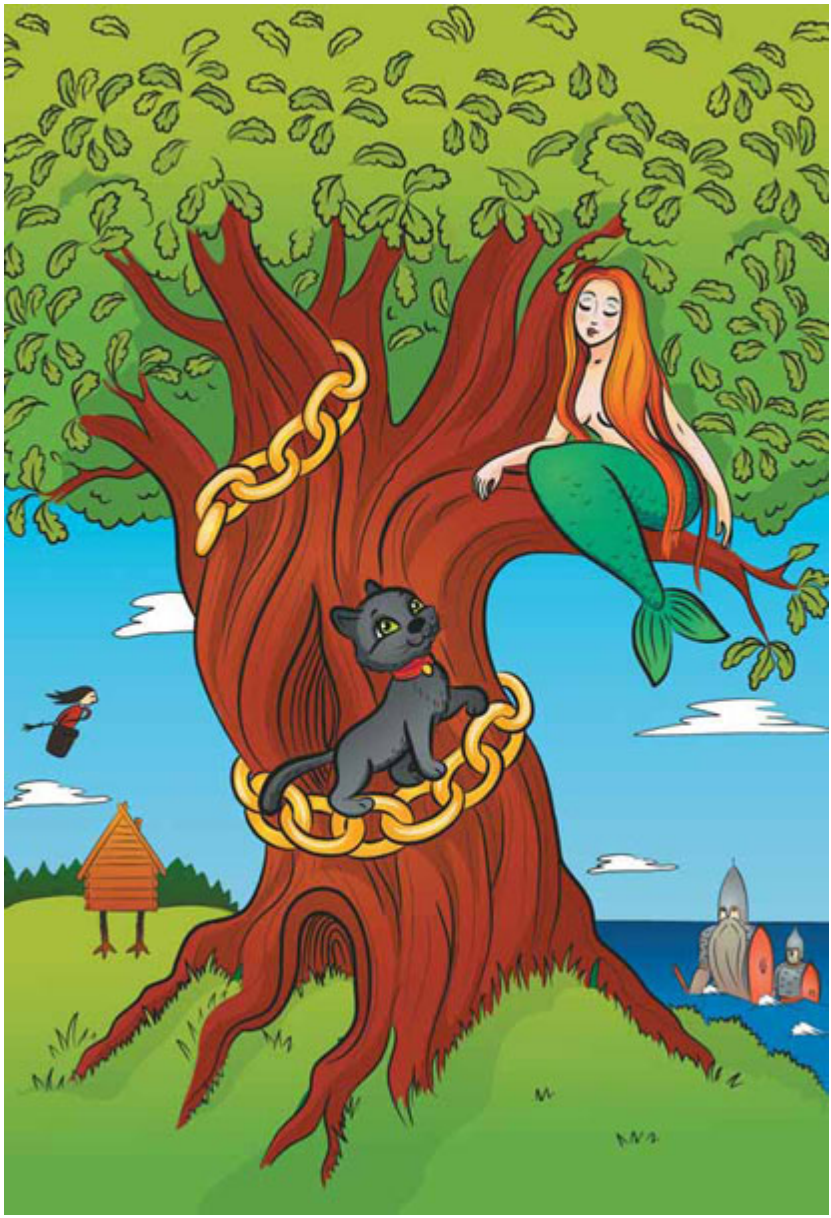
Робко месяц смотрит в очи,
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

Сказки и басни русских писателей

Пушкин А. С.
Лукоморье

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою-Ягой
Идёт, бредёт сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.



Пушкин А. С.
Сказка о попе и работнике его Балде

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошёл поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идёт, сам не зная куда.

«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно.
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почёсывать лоб.
Щёлк щёлку ведь розь.
Да понадеялся он на русской авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моём подворье,
Окажи своё усердие и проворье».
Живёт Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До светла всё у него пляшет,
Лошадь запряжёт, полосу вспашет,
Печь затопит, всё заготовит, закупит,
Яичко испечёт да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попёнок зовёт его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идёт, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьёт, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признаётся:
«Так и так: что делать остаётся?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь,
А требуй, чтоб он её исполнил точь-в-точь,

Тем ты и лоб от расправы избавишь
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошёл, сел у берега моря;
Там он стал верёвку крутить
Да конец её в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
– «Да вот верёвкой хочу море морщить.
Да вас, проклятое племя, корчить.»
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
– «Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха».
– «Балдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесёнок,
Замяукал он, как голодный котёнок:
«Здравствуй, Балда-мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть – возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору –
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря.
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?

Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошёл Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков да в мешок,
К морю опять он приходит,
У моря бесёнка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку;
Ты, бесёнок, ещё молодёнек,
Со мною тягаться слабёнек;
Это было б лишь времени трата,
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесёнок и зайка;
Бесёнок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесёнок, задыхаясь,
Весь мокрёшенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь – а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесёнок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел,
На братца поглядывает боком.
«Погоди, – говорит, – схожу за оброком».
Пошёл к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что всё море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесёнок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк –
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждёшь?» – «Да жду вон этой тучки;

Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».
Испугался бесёнок да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,
А Балда над морем опять шумит
Да чертям верёвкой грозит.
Вылез опять бесёнок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь…»
– «Нет, – говорит Балда, –
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, вражёнок, задачу.
Посмотрим, какова у тебя сила.
Видишь, там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси её полверсты;
Снесёшь кобылу, оброк уж твой;
Не снесёшь кобылы, ан будет он мой».
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесёнок и к деду
Пошёл рассказывать про такую победу.
Черти стали в кружок,
Делать нечего – собрали полный оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идёт Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка

Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;

А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.

А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Крылов И. А.
Басни

Ворона и лисица

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близёхонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, – Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пёрышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье спёрло, –
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во всё воронье горло:
Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

Зеркало и Обезьяна

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой;
«Смотри-ка, – говорит, – кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у неё ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на неё хоть чуть была похожа.

А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть». –
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» –
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

Лебедь, Щука и Рак

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Лисица и виноград

Голодная кума Лиса залезла в сад,
В нём винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдёт,
Хоть видит око,
Да зуб неймёт.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен – ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьёшь».

Мартышка и очки

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло ещё не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
«Тьфу пропасть! – говорит она: – и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:

Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на волос нет в них».
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, – цены не зная ей,

Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он её ещё и гонит.

Слон и Моська

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ –
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться, –
Ей шавка говорит, – тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает». –
«Эх, эх! – ей Моська отвечает, –
Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»

Произведения писателей XIX–XX веков

Одоевский В. Ф.
Мороз Иванович

В одном доме жили две девочки: Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать; сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку, да спать не хочется; ей бы покушать, да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать, да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, какбудто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальёт; да ещё какая затейница: коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, наложит в неё угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в неё воды, а вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да ещё рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и весь день прошёл.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на верёвке, а верёвка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная Рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

– Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведёрко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за верёвку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед

ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмёт, тот со мной и пойдёт!

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идёт она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

– Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студёной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнёт головой – от волос иней сыплется, духом дохнёт – валит густой пар.

– А! сказал он. Здорово, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

Знаю я, зачем ты пришла, говорит Мороз Иванович, ты ведёрко в мой студенец (колодец) опустила; отдать тебе ведёрко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, прибавил Мороз Иванович, мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась… Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звёздочками; солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, как брильянты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби бельё полощут: и холодно, и ветер в лицо, и бельё замерзает, колом стоит, а делать нечего – работают бедные люди.

Ничего, сказал Мороз Иванович, только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зелёная

травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки.

– Вот ты говоришь, сказала она, что ты старик добрый, а зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?

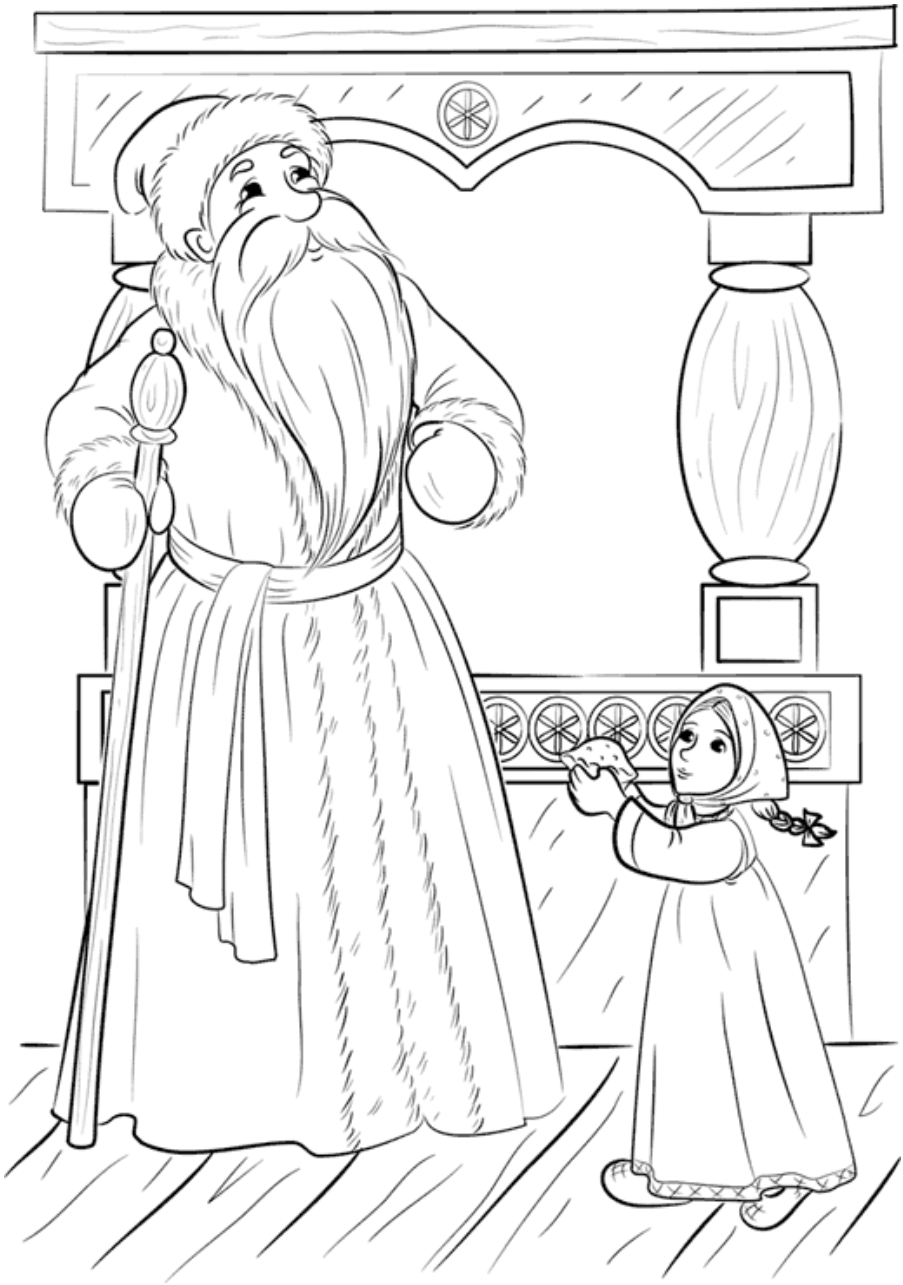
– Не выпускаю потому, что ещё не время, ещё трава в силу не вошла. Осенью крестьяне её посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы её захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да ещё сам прилег на неё, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придёт весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберёт да на мельницу отвезёт; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечёшь.

– Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, сказала Рукодельница, зачем ты в колодце-то сидишь?

– Я затем в колодце сижу, что весна подходит, сказал Мороз Иванович. Мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в колодце студёная, хоть посреди самого жаркого лета.

– А зачем ты, Мороз Иванович, спросила Рукодельница, зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?

– А я затем в окошки стучусь, отвечал Мороз Иванович, чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда ещё не все угольки прогорели, а от того в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем ещё я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.



Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке, да и лёг почивать на свою снежную постель.

Рукодельница меж тем всё в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и бельё выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; обед был прекрасный, и

особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

– Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё ведёрко, а в ведёрко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе на память брильянтик – косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола брильянтик, взяла ведёрко, пошла опять к колодцу, ухватилась за верёвку и вышла на свет Божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел её, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукареку, кукареки! У Рукодельницы в ведёрке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

– Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да бельё штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось и брильянтовую булавочку тоже. Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за верёвку, да бух прямо ко дну. Смотрит перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмёт, тот со мной и пойдёт.

А Ленивица ему в ответ:

– Да, как бы не так! Мне себя утомлять лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идёт она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

– Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студёной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

– Да, как бы не так! отвечала Ленивица. Мне себя утомлять ручки подымать, за сучья тянуть… Успею набрать, как сами нападают!

И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза

Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

– Что тебе надобно, девочка? – спросил он.

– Пришла я к тебе, отвечала Ленивица, послужить да за работу получить.

– Дельно ты сказала, девочка, отвечал старик, за работу деньги следует, только посмотрим, какова ещё твоя работа будет! Поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье моё повычини, да бельё повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает: «Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснёт».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лёг в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас – всё по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как всё было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да ещё кваску подлила, а сама думает: «Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

– Хорошо ты готовишь, заметил он, улыбаясь. Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лёг отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не починено, да и бельё не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и бельё разбирать; да и тут беда: платье и бельё Ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так её и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да ещё спать её уложил. А Ленивице-то и любо; думает себе: «Авось и так пройдёт. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, пятачков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича её домой отпустить да за работу наградить.

– Да какая же была твоя работа? – спросил старичок. Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

– Да, как же! – отвечала Ленивица. Я ведь у тебя целых три дня жила.

– Знаешь, голубушка, отвечал старичок, что я тебе скажу: жить и служить разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперёд пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку пребольшой брильянт. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается.

– Вот, говорит, что я заработала; не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький брильянтик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжёлый, да и брильянт-то чуть не с кулак… Уж на это можно к празднику обнову купить…

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не что иное как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и брильянт. А петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукареку-кукарекулька,
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье…

Толстой Л. Н.
Детство (отрывок)

Глава I. Учитель Карл Иваныч

12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко,

что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пёстром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьёт мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошёл к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

– Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal[1], – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошёл ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утёр нос, щёлкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nu, nun, Faulenzer![2] – говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нём думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

– Ach, lassen Sie[3], Карл Иваныч! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чём я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слёз, заставляли их течь ещё обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, всё это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась

явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон – будто maman умерла и её несут хоронить. Всё это я выдумал, по тому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слёзы полились уже от другой причины. Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слёзы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошёл дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьёзный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нёс наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда ещё несносные башмаки с бантиками. При нём мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьёзный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться. Я совсем развеселился.

– Sind Sie bald fertig?[4] – послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слёз. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, ещё с щёткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своём обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages», в красных переплётах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; всё туда же, бывало, нажмёшь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была ещё разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплёта, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожжённом с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч бо льшую часть своего времени

проводил за чтением, даже испортил им своё зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрёл и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка, зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке. Всё это так чинно, аккуратно лежит на своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадёшься на верх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один-одинёшенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал её Николаю – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдёшь к нему, возьмёшь за руку и скажешь: «Lieber[5] Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – чёрная доска, на которой кружками

отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнёшь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадёт с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он стоит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной чёрной клеёнкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетёный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь чёрную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдёт в грусть, и, Бог знает отчего и о чём, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повёл нас вниз – здороваться с матушкой.

Толстой Л. Н.
Кавказский пленник (быль)

I

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе – может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придётся увидать. Поехать; а если невеста хороша – и жениться можно».

Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдёт от крепости – татары[6] или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, и телега его с вещами шла в обозе.

Ехать было двадцать пять вёрст. Обоз шёл тихо: то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят – дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошёл. Пыль, жара, солнце так и печёт, и укрыться негде. Голая степь; ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперёд, остановился и ждёт, пока подойдёт к нему обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, – опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар – ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьём, и говорит:

– Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. – А Костылин – мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льёт. Подумал Жилин и говорит:

– А ружьё заряжено?

– Заряжено.

– Ну, так поедем. Только уговор – не разъезжаться. И поехали они вперёд по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье. Жилин и говорит:

– Надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

– Что смотреть? Поедем вперёд. Жилин не послушал его.

– Нет, – говорит, – ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за неё сто рублей заплатил в табуне жеребёнком и сам выездил); как на крыльях, взнесла его на кручь. Только выскакал – глядь, а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами. Человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать, и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадины ноги, кричит Костылину:

– Вынимай ружьё! – а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнёшься – пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того, чтобы подождать, только увидал татар, – закатился, что есть духу, к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого.

Только в пыли, видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит – дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам – думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми ещё добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит – близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружьё наготове.

«Ну, – думает Жилин, – знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой…»

А Жилин хоть не велик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нём сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, – навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нём два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, – да ещё соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за

спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, всё обшарили, деньги, часы вынули, платье всё изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьётся ногами, – до земли не достаёт; в голове дыра, а из дыры так и свищет кровь чёрная, – на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошёл к лошади, стал седло снимать. Она всё бьётся, – он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепенулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнём за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, – да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться; переехали ещё речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришёл ногаец, скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принёс работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай; толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лёг.

II

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит – в щёлке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щёлку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щёлки дорога – под гору идёт, направо сакля

татарская, два дерева подле неё. Собака чёрная лежит на пороге, коза с козлятами ходит – хвостиками подёргивают. Видит – из-под горы идёт татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идёт, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведёт бритого, в одной рубашонке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете в шёлковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, чёрная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бородку красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошёл куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали ещё мальчишки бритые в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щёлку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, – только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает: «Хоть бы пришли проведать». Слышит, – отпирают сарай. Пришёл красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза чёрные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо весёлое, всё смеётся. Одет черноватый ещё лучше: бешмет шёлковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие, толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошёл, проговорил что-то точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый – быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, – подошёл прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищёлкивает, всё приговаривает:

– Корошо урус! корошо урус! Ничего не понял Жилин и говорит:

– Пить, воды пить дайте. Чёрный смеётся.

– Корош урус, – всё по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали. Чёрный понял, засмеялся, выглянул в дверь, крикнул кого-то:

– Дина!

Прибежала девочка – тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на чёрного похожа. Видно, что дочь. Тоже – глаза чёрные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах

оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие, с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса чёрная, и в косе лента, а на ленте привешены бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьёт, – как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал её ещё куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой, и опять села, изогнулась, глаз не спускает – смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного приходит к Жилину ногаец и говорит:

– Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошёл Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шёл Жилин. Сам смеётся, всё говорит что-то по-своему, и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. В передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки – все в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: чёрный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское – буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил чёрный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковёр, а на голый пол, залез опять на ковёр, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули

во все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

– Тебя, – говорит, – взял Кази-Мугамед, – сам показывает на красного татарина, – и отдал тебя Абдул-Мурату, – показывает на черноватого. – Абдул-Мурат теперь твой хозяин.

Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат и всё показывает на Жилина, и смеётся, и приговаривает:

– Солдат, урус, корошо урус. Переводчик говорит:

Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит. Жилин подумал и говорит:

– А много ли он хочет выкупа? Поговорили татары, переводчик и говорит:

– Три тысячи монет.

– Нет, – говорит Жилин, – я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, – всё думает, что он поймёт. Перевёл переводчик, говорит:

– Сколько же ты дашь? Жилин подумал и говорит:

– Пятьсот рублей.

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал, так, что слюни изо рта брызжут.

А красный только хмурится да языком пощёлкивает.

Замолчали они, переводчик говорит:

– Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх, – думает Жилин, – с ними что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

– А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил чёрный, подошёл к Жилину.

– Урус, – говорит, – джигит, джигит урус!

Джигит по-ихнему значит «молодец». И сам смеётся; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

– Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своём:

– Больше пятисот рублей не дам. А убьёте, – ничего не возьмёте.

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на

Жилина, то на дверь поглядывают. Пришёл работник, и идёт за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин, – узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружьё осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевёл переводчик, что они теперь оба одного хозяина и кто прежде деньги даст, того прежде отпустят. – Вот, – говорит Жилину, – ты всё серчаешь, товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо и обижать не будут.

Жилин и говорит:

– Товарищ как хочет, он, может, богат, а я не богат. Я – говорит, – как сказал, так и будет. Хотите убивайте, – пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу показывает: «Пиши». Согласился на пятьсот рублей.

– Погоди ещё, – говорит Жилин переводчику, – скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе, – нам веселее будет, и чтобы колодку снял.

Сам смотрит на хозяина и смеётся. Смеётся и хозяин. Выслушал и говорит:

– Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе – пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять – уйдут. На ночь только снимать буду. – Подскочил, треплет по плечу. – Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрёпанные, солдатские. Видно с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

III

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин всё смеётся: «Твоя, Иван, хорош – моя Абдул, хорош». А кормил плохо, – только и давал, что хлеб пресный из просяной муки,

лепёшками печёный, а то и вовсе тесто непечёное.

Костылин ещё раз писал домой, всё ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придёт, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдёт, а другого не писал.

«Где, – думает, – матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец, бог даст – и сам выберусь».

А сам всё высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь, рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетёт плетёнки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидела куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подаёт им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушёл в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает как ребёнка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на неё, выхватила куклу, разбила её, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, ещё лучше, – отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеётся, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» – думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко.

– Хорошо, – говорит. Как взрадуется Дина!

– Хорошо, Иван, хорошо! – и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепёшки сырные и сушат их на крышах, – так она эти лепёшки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, – так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная и дождь час целый, как из ведра, лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот так прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, – одел он кукол: одна –

мужик, другая – баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щёлкают:

– Ай, урус! Ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щёлкает. Жилин говорит:

– Давай, починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил: опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принёс ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял, – и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружьё или пистолет починить принесёт, кто часы. Привёз ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину:

– Поди полечи.

Жилин ничего не знает, как лечить. Пошёл, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушёл в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел, на его счастье, татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары приникли к нему, – когда нужно, кличут: «Иван, Иван», а которые всё, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся, либо обругает. Был ещё у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин, только когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано. Бородка и усы подстрижены, – белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые, и зубов нет – только два клыка. Идёт, бывало, в чалме своей, костылём подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернётся.

Пошёл раз Жилин под гору – посмотреть, где живёт старик. Сошёл по дорожке, видит – садик, ограда каменная; из-за ограды – черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошёл он поближе; видит – ульи стоят плетённые из соломы, и пчёлы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся – как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришёл старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеётся и спрашивает:

– Зачем ты к старику ходил?

– Я, – говорит, – ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живёт.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушёл старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

– Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца; нашёл там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошёл в Мекку – богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, – я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, а я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. – Смеётся, сам приговаривает по-русски: – Твоя, Иван, хорош – моя, Абдул, хорош!

IV

Прожил так Жилин месяц. Днём ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придёт, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тёр, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы, – думает, – мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошёл после обеда за аул, на гору, – хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

– Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову! Стал его Жилин уговаривать.

– Я, – говорит, далеко не уйду – только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти – ваш народ лечить. Пойдём со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору – недалеко, а с

колодкой трудно; шёл, шёл, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни за сарай, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора – ещё круче, а за той горой ещё гора. Промеж гор лес синеется, а там ещё горы – всё выше и выше поднимаются. А выше всех – белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат – всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну, – думает, – это всё ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно, – бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через неё ещё две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине, должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых – алые; в чёрных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться, – маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое – крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно – мулла прокричал. Стадо гонят – коровы ревут. Малый всё зовёт: «Пойдём», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну, – думает Жилин, – теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были тёмные – ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они – гонят с собой скотину и приезжают весёлые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мёртвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришёл мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мёртвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, и сзади их ещё татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

– Алла! (значит бог) – Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

– Алла! – и все проговорили: – Алла! – и опять замолчали. Мёртвый лежал на траве, не шелохнётся, и они сидят как

мёртвые. Не шевельнётся ни один. Только слышно на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочёл мулла молитву, все встали, подняли мёртвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мёртвого под мышки да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зелёного, заклали камышом яму, живо засыпали землёй, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

– Алла! Алла! Алла! – вздохнули и встали. Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошёл домой.

Наутро видит Жилин – ведёт красный кобылу за деревню, и за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, – ручищи здоровые, – вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошёл рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать – кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собрались к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвёртый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек десять, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи ещё тёмные были.

«Ну, – думает Жилин, – нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

– Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

– Я знаю дорогу.

– Да не дойдём в ночь.

– А не дойдём – в лесу переднюем. Я вот лепёшек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо – пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые – за то, что ихнего русские убили. Поговаривают – нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин,

– Ну, пойдём!

V

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы и Костылину пролезть, и сидят они – ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину:

– Полезай.

Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была – пёстрая собака, и злая-презлая; звали её Уляшин. Жилин уже наперёд прикормил её. Услыхал Уляшин – забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепёшки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли: – Гайть! Гайть, Уляшин!

А Жилин за ушами почёсывает Уляшина. Молчит собака, трётся ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло всё; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно, звёзды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу:

– Ну, брат, айда!

Тронулись, только отошли, слышат – запел мулла на крыше «Алла, Бесмилла! Ильрахман!» Значит – пойдёт народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдёт. Опять затихло.

– Ну, с богом! – Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой да низом стоит, а над головой звёзды виднёшеньки. Жилин по звёздам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки – стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошёл босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать. – Тише, – говорит, иди; сапоги проклятые – все ноги стёрли.

– Да ты сними, легче будет.

Пошёл Костылин босиком – ещё того хуже: изрезал все ноги по камням и всё отстаёт. Жилин ему говорит:

– Ноги обдерёшь – заживут, а догонят – убьют – хуже. Костылин ничего не говорит, идёт покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат – вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

– Эх, говорит, – ошиблись мы – вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо да влево, в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

– Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, – у меня ноги в крови все.

– Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот так! – И побежал Жилин назад, и влево в гору, в лес. Костылин всё отстаёт и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам всё идёт.

Поднялись на гору. Так и есть – лес. Вошли в лес, – по колючкам изодрали всё платье последнее. Напали на дорожку в лесу. Идут.

– Стой! – Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они – опять затопало. Они остановятся – и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге – стоит что-то: лошадь не лошадь, а на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло – слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку, – как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает. Костылин так и упал со страху. А Жилин смеётся, говорит:

– Это олень. Слышь – как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли, – не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих – вёрст десять ещё будет, а приметы верной нет, да ночью не разберёшь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

– Как хочешь, а я не дойду, – у меня ноги не идут. – Стал его Жилин уговаривать.

– Нет, – говорит, – не дойду, не могу. – Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

– Так я же один уйду, – прощай!

Костылин вскочил, пошёл. Прошли они версты четыре. Туман в лесу ещё гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно – подковами за камни цепляется. Лёг Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

– Так и есть – сюда, к нам конный едет! – Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит – верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

– Ну, пронёс бог, – вставай, пойдём. – Стал Костылин вставать и упал.

– Не могу, – ей-богу, не могу; сил моих нет. Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны, – он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

– Ой, больно! – Жилин так и обмер.

– Что кричишь? Ведь татарин близко – услышит. – А сам

думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

– Ну, – говорит, – вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.

Посадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

– Только, – говорит, – не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину, – ноги тоже в крови и уморился. Нагнётся, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нём Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружьё, выпалил, – не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

– Ну, – говорит Жилин, – пропали, брат! Он, собака, сейчас соберёт татар и за нами в погоню. Коли не уйдём версты за три, – пропали. – А сам думает на Костылина: «И чёрт меня дёрнул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушёл». Костылин говорит:

– Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

– Нет, не пойду: не годится товарища бросать. Подхватил опять на плечи, попёр. Прошёл он так с версту.

Всё лес идёт, и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали. Не видать уж звёзд. Измучился Жилин.

Пришёл, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

– Дай, – говорит, – отдохну, напьюсь. Лепёшек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилёг он пить, слышит – затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают. Слышат – трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары – тоже чужие; схватили их, повязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три, – встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеётся и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плётками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришёл. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: «Надо их дальше в горы услать», а старик говорит: «Надо их убить». Абдул спорит, говорит: «Я за них деньги отдал. Я за них выкуп возьму». А старик говорит: «Ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить, – и кончено».

Разошлись. Подошёл хозяин к Жилину, стал ему говорить:

– Если, – говорит, – мне не пришлют за вас выкуп, я через неделю вас запорю. А если затеешь опять бежать, – я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

VI

Житьё им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непечёное, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всём теле стала; и всё стонет или спит. И Жилин приуныл, видит – дело плохо. И не знает, как выбраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепёшка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «Не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «Как придёт Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин – затопали лошади, приехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит – зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазёнки так и блестят, как звёздочки; вынула из рукава две сырные

лепёшки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

– Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На, вот – Стал ей швырять по одной, а она головой мотает, не смотрит.

– Не надо, – говорит. Помолчала, посидела и говорит. – Иван, тебя убить хотят. – Сама себе рукой на шею показывает.

– Кто убить хочет?

– Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

– А коли тебя меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает, – что «нельзя». Он сложил руки, молится ей.

– Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

– Нельзя, – говорит, – увидят, все дома, – и ушла. Вот сидит вечером Жилин и думает: «Что будет?»

Всё поглядывает вверх. Звёзды видны, а месяц ещё не всходил. Мулла прокричал, затихло всё. Стал уже Жилин дремать, думает: «Побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху – шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползёт в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил – шест здоровый. Он ещё прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх: звёзды высоко в небе блестят; и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет:

– Иван, Иван! – А сама руками у лица все машет, что «тише, мол».

– Что? – говорит Жилин.

– Уехали все, только двое дома. Жилин говорит:

– Ну, Костылин, пойдём, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слышать не хочет.

– Нет, – говорит, уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться сил нет?

– Ну, так прощай, не поминай лихом. – Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался, – колодка мешала. Поддержал его Костылин, – выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил, сама смеётся.

Взял Жилин шест и говорит:

– Снеси на место, Дина, а то хватятся, – прибьют тебя. – Потащила она шест, а Жилин под гору пошёл. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок

крепкий, – никак не собьёт, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «Верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

– Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики – ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечи его держит. Оглянулся Жилин, видит – налево за горой зарево красное загорелось, месяц встаёт. «Ну, – думает, – до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, – да надо идти.

– Прощай, – говорит, – Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина: шарит по нём руками, ищет – куда бы лепёшку ему засунуть. Взял он лепёшки.

– Спасибо, – говорит, – умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? – И погладил её по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно – монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, – ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встаёт. Дорогу он узнал. Прямиком идти вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет.

Перешёл он речку, – побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не видать ещё месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится. Ползёт под гору тень, всё к нему приближается.

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, – бело, светло, совсем как днём. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло всё. Только слышно, внизу речка журчит.

Дошёл до лесу – никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил – ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится, «Нечего делать, – думает, – буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветёт, – лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну, – думает, – ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит – лес кончается. Вышел на край – совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся – видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошёл под гору. А сам думает: «Избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин: хоть близко, а не уйдёшь».

Только подумал – глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его, – пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

– Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши, – выскочили казаки верховые. Пустились к нему – наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, сам себя не помнит, крестится и кричит:

– Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары, – не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: кто он, что за человек, откуда? А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

– Братцы! братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним всё дело было, и говорит;

– Вот и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только ещё через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

Тургенев И. С.
Бежин луг

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром:

она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лёгкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределённые, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силён, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба…

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашёл и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, ещё светлом, хотя не озарённом более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошёл я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно

другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся… «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошёл в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошёл, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в своё гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня… «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! Вон это, должно быть, Синдеевская роща… Да как же это я сюда зашёл? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошёл вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперёд. Всё кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрёл по полю межой. Уже я с трудом различал отдалённые предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на нём.

Что я было принял за рощу, оказалось тёмным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую жёлто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками

и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперёд, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне её торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я всё ещё не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошёл себе прямо, по звёздам – наудалую… Около получаса шёл я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонёк, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шёл и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдёрнул занесённую ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала её уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали её теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, тёмным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы…

Я узнал, наконец, куда я зашёл. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга… Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг

огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошёл к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днём мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилёг под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнёт голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещённого места трудно разглядеть, что делается в потёмках, и потому вблизи всё казалось задёрнутым почти чёрной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Тёмное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума… Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснёт большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они ещё долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить своё желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нём была пёстрая ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, чёрные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый – что и говорить! – а всё-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно всё щурился от огня. Его жёлтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нём были новые лапти и онучи; толстая верёвка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную чёрную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвёртый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал моё любопытство своим задумчивым и печальным взором. Всё лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки: губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, чёрные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов. Он

был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнёхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под неё свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котёльчик висел над одним из огней; в нём варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и всё так же напряжённо щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сём, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?

– Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, – отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, – а слышал… Да и не я один.

– А он у вас где водится? – спросил Павлуша.

– В старой рольне[7].

– А разве вы на фабрику ходите?

– Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим[8].

– Вишь ты – фабричные!..

– Ну, так как же ты его слышал? – спросил Федя.

– А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Фёдором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да ещё с Ивашкой Сухоруковым, да ещё были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять – как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придёт?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошёл он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а за ставки у дворца-

то[9] спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошёл тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут… Ну, подошёл тот к нашей двери, подождал, подождал – дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим – ничего… Вдруг, глядь, у одного чана форма[10] зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошёл да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так… Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли… Уж как же мы напужались о ту пору!

– Вишь как! – промолвил Павел. – Чего ж он раскашлялся?

– Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

– А что, – спросил Федя, – картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

– Нет, ещё сыры… Вишь, плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, щука… А вон звёздочка покатилась.

– Нет, я вам что, братцы, расскажу, – заговорил Костя тонким голоском, – послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

– Ну, слушаем, – с покровительствующим видом сказал Федя.

– Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

– Ну да; знаем.

– А знаете ли, отчего он такой всё невесёлый, всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невесёлый. Пошёл он раз, тятенька говорил, – пошёл он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошёл он в лес по орехи да и заблудился; зашёл – бог знает куды зашёл. Уж он ходил, ходил, братцы мои, – нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, – присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовёт. Смотрит – никого. Он опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовёт, а сама помирает со смеху, смеётся… А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц – всё, братцы мои, видно. Вот зовёт она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, – а то вот ещё карась бывает такой белесоватый, серебряный… Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его всё к себе этак рукой зовёт. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь

его надоумил: положил-таки на себя крест… А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается… Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет… Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у неё зелёные, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на неё Гаврила, да и стал её спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти… А только с тех пор вот он всё невесёлый ходит.

– Эка! – проговорил Федя после недолгого молчанья, – да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, – он же её не послушался?

– Да вот поди ты! – сказал Костя. – И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

– Твой батька сам это рассказывал? – продолжал Федя.

– Сам. Я лежал на полатях, всё слышал.

– Чудное дело! Чего ему быть невесёлым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

– Да, понравился! – подхватил Ильюша. – Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

– А ведь вот и здесь должны быть русалки, – заметил Федя.

– Нет, – отвечал Костя, – здесь место чистое, вольное. Одно – река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули…

– С нами крестная сила! – шепнул Илья.

– Эх вы, вороны! – крикнул Павел, – чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котёльчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? – сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котёльчик скоро весь

опорожнился.

– А слыхали вы, ребятки, – начал Ильюша, – что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

– На плотине-то? – спросил Федя.

– Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли[11] водятся.

– Ну, что такое случилось? сказывай…

– А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд ещё был глубок; только могилка его ещё видна, да и та чуть видна: так – бугорочек… Вот на днях зовёт приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, – что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек – ничего. Вот идёт Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясёт; однако он её отпрукал, сел на неё с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, – говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся… Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принёсся уже издалека… Прошло ещё немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет… Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с неё Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

– Что там? что такое? – спросили мальчики.

– Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживлённое быстрой ездой, горело смелой удалью и твёрдой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… «Что за славный мальчик!» – думал я, глядя на него.

– А видали их, что ли, волков-то? – спросил трусишка Костя.

– Их всегда здесь много, – отвечал Павел, – да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнём. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

– А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить своё достоинство). – Да и собак тут нелёгкая дёрнула залаять… А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

– Варнавицы?.. Ещё бы! ещё какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали – покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и всё это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

– Он его спросил? – перебил изумлённый Федя.

– Да, спросил.

– Ну, молодец же после этого Трофимыч… Ну, и что ж тот?

– Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: – разрыв-травы. – А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? – Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон…

– Вишь какой! – заметил Федя, – мало, знать, пожил.

– Экое диво! – промолвил Костя. – Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

– Покойников во всяк час видеть можно, – с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья… – Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да всё на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

– Ну, и видела она кого-нибудь? – с любопытством спросил Костя.

– Как же. Перво-на перво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала… только всё как будто собачка этак залает, залает где-то… Вдруг, смотрит: идёт по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась – Ивашка Федосеев идет…

– Тот, что умер весной? – перебил Федя.

– Тот самый. Идёт и головушки не подымает… А узнала его Ульяна… Но а потом смотрит: баба идёт. Она вглядываться, вглядываться – ах ты, господи! – сама идёт по дороге, сама Ульяна.

– Неужто сама? – спросил Федя.

– Ей-богу, сама.

– Ну что ж, ведь она ещё не умерла?

– Да году-то ещё не прошло. А ты посмотри на неё: в чём душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожжённые концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

– Знать, от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь, покуда на что наткнётся, и где ткнёт, там и ночует до зари.

– А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

– Может быть, – проговорил он наконец.

– А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?[12]

– Как солнца-то не стало видно? Как же.

– Чай, напугались и вы?

– Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку[13] увидят.

– Какого это Тришку? – спросил Костя.

– А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша, – ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придёт; а придёт он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьём, оцепят его, но а он им глаза отведёт – так отведёт им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнёт туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по сёлам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский… ну, а сделать ему нельзя будет ничего… Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

– Ну да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнётся, так Тришка и придёт. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждёт, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идёт какой-то человек, такой мудрёный, голова такая удивительная… Все как крикнут: «Ой, Тришка идёт! ой, Тришка идёт!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овёс, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шёл наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и ещё долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; ещё много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звёзды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами

стремительный, безостановочный бег земли…

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился уже далее…

Костя вздрогнул. «Что это?»

– Это цапля кричит, – спокойно возразил Павел.

– Цапля, – повторил Костя… – А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, помолчав немного, – ты, может быть, знаешь…

– Что ты слышал?

– А вот что я слышал. Шёл я из Каменной Гряды в Шашкино; а шёл сперва всё нашим орешником, а потом лужком пошёл – знаешь, там, где он сугибелью[14] выходит, – там ведь есть бучило[15]; знаешь, оно ещё всё камышом заросло; вот пошёл я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у… у-у… у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал… Что бы это такое было? ась?

– В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, – заметил Павлуша, – так, может быть, его душа жалобится.

– А ведь и то, братцы мои, – возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза… – Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы ещё не так напужался.

– А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, – продолжал Павел, – которые так жалобно кричат.

– Лягушки? Ну, нет, это не лягушки… какие это… (Цапля опять прокричала над рекой.) – Эк её! – невольно произнес Костя, – словно леший кричит.

– Леший не кричит, он немой, – подхватил Ильюша, – он только в ладоши хлопает да трещит…

– А ты его видал, лешего-то, что ли? – насмешливо перебил его Федя.

– Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошёл: водил, водил его по лесу, и всё вокруг одной поляны… Едва-те к свету домой добился.

– Ну, и видел он его?

– Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, тёмный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберёшь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает…

– Эх ты! – воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передёрнув

плечами, – пфу!..

– И зачем эта погань в свете развелась? – заметил Павел. – Не понимаю, право!

– Не бранись: смотри, услышит, – заметил Илья. Настало опять молчание.

– Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на божьи звёздочки, – что пчёлки роятся!

Он выставил своё свежее личико из-под рогожи, опёрся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

– А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова?

– Здорова, – отвечал Ваня, слегка картавя.

– Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..

– Не знаю.

– Ты ей скажи, чтобы она ходила.

– Скажу.

– Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

– А мне дашь?

– И тебе дам. Ваня вздохнул.

– Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котёльчик.

– Куда ты? – спросил его Федя.

– К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

– Смотри, не упади в реку! – крикнул ему вслед Ильюша.

– Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережётся.

– Да, остережётся. Всяко бывает: он вот нагнётся, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду… А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

– А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

– С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной её испортил. Знать, не ожидал что её скоро вытащут. Вот он её, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с чёрным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу,

словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

– А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что её полюбовник обманул.

– От того самого.

– А помнишь Васю? – печально прибавил Костя.

– Какого Васю? – спросил Федя.

– А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдёт. Бывало, пойдёт-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, – глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывёт. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своём уме: придёт да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, – помните, Вася-то всё такую песенку певал, – вот её-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится…

– А вот Павлуша идёт, – молвил Федя.

Павел подошёл к огню с полным котёльчиком в руке.

– Что, ребята, – начал он, помолчав, – неладно дело.

– А что? – торопливо спросил Костя.

– Я Васин голос слышал. Все так и вздрогнули.

– Что ты, что ты? – пролепетал Костя.

– Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовёт: «Павлуша, подь сюда». Я отошёл. Однако воды зачерпнул.

– Ах ты, господи! ах ты, господи! – проговорили мальчики, крестясь.

– Ведь это тебя водяной звал, Павел, – прибавил Федя… – А мы только что о нём, о Васе-то, говорили.

– Ах, это примета дурная, – с расстановкой проговорил Ильюша.

– Ну, ничего, пущай! – произнёс Павел решительно и сел опять, – своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнём, как бы собираясь спать.

– Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался.

– Это кулички летят, посвистывают.

– Куда ж они летят?

– А туда, где, говорят, зимы не бывает.

– А разве есть такая земля?

– Есть.

– Далеко?

– Далеко, далеко, за тёплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трёх часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошёл наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же великолепна, как и прежде… Но уже склонились к тёмному краю земли многие звёзды, ещё недавно высоко стоявшие на небе; всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает всё только к утру: всё спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, – в нём снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжу-щем, слабо льющемся свете звёзд, тоже лежали, понурив головы… Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Всё стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звёзды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошёл бродить и порхать над землёю. Тело моё ответило ему лёгкой, весёлой дрожью. Я проворно встал и подошёл к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошёл восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух вёрст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагрённым кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света… Всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней

прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун…

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Чехов А. П.
Белолобый

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; ей казалось, будто за деревьями в потёмках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошёл с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей

послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Её мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягнёнка, и от таких мыслей зубы у неё щелкали и глаза светились в потёмках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неё вдруг прямо в морду пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое, должно быть, на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон…

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

– Полный ход! Пошёл к свистку!

И свистел, как машина, и потом – го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки… Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чём не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку, и уже

просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? – думала волчиха с досадой. – Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; её мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошенного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его… Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:

– Мня, мня… нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроём напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала:

«Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его…» – решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь…

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушёл домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное… Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это, не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», – подумала волчиха и быстро побежала вперёд.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче… Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

– Фюйть! – засвистел Игнат. – Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок – ружьё дало осечку; он спустил ещё раз – опять осечка; он спустил в третий раз – и громадный огненный сноп вылетел из ствола и раздалось оглушительное «бу! бу!» Ему

сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл посмотреть, отчего шум… Немного погодя он вернулся в избу.

– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

– Ничего… – ответил Игнат. – Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

– Глупый.

– Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! – вздохнул Игнат, полезая на печь. – Ну, божий человек, рано ещё вставать, давай спать полным ходом…

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

– Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

Чехов А. П.
Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, прозванный так

за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

– Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом…

Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочённый орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может чтоб не крикнуть:

– Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ёе… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался.

Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…

Сказки зарубежных писателей

Андерсен Г.-Х.
Дикие лебеди

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. Было у него одиннадцать сыновей и одна дочь, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу со звёздами на груди и саблями у ноги. Писали они на золотых досках алмазными грифелями и наизусть умели читать не хуже, чем по книжке. Сразу было видно, что они настоящие принцы. А их сестрица Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было отдано полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго. Отец их, король той страны, женился на злой королеве, и она с самого начала невзлюбила бедных детей. Они испытали это в первый же день. Во дворце шёл пир, и дети затеяли игру в гости. Но вместо пирожных и печёных яблок, которые они всегда получали вдоволь, мачеха дала им чайную чашку речного песку – пусть представят себе, что это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу в деревню крестьянам на воспитание, а прошло ещё немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

– Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами! – сказала злая королева. – Летите большими птицами без голоса!

Но не сталось так, как она хотела: они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из окон дворца и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо дома, где спала ещё крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не слышал, не видел. Так и пришлось им улететь ни с чем. Взвились они под самые облака и полетели в большой тёмный лес у берега моря.

А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянском доме и играла зелёным листком – других игрушек у неё не было. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь неё на солнце, и ей

казалось, что она видит ясные глаза своих братцев. А когда тёплый луч солнца падал ей на щёку, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Порой ветер колыхал розовые кусты, росшие возле дома, и нашёптывал розам:

– Есть ли кто красивее вас? Розы качали головками и отвечали:

– Элиза.

И это была сущая правда.

Но вот минуло Элизе пятнадцать лет, и её отослали домой. Увидала королева, какая она хорошенькая, разгневалась и ещё больше возненавидела её. И хотелось бы мачехе превратить Элизу в дикого лебедя, как её братьев, да не посмела она сделать это сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот с утра пораньше пошла королева в мраморную купальню, убранную мягкими подушками и чудесными коврами, взяла трёх жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

– Как войдёт Элиза в купальню, сядь ей на голову, пусть она станет такой же ленивой, как ты. А ты сядь Элизе на лоб, – сказала она другой. – Пусть она станет такой же безобразной, как ты, чтобы и отец её не узнал. – Ну а ты ляг Элизе на сердце, – сказала она третьей. – Пусть она станет злой и мучается от этого!

Пустила королева жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же позеленела. Позвала королева Элизу, раздела и велела ей войти в воду. Послушалась Элиза, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, третья на грудь, но Элиза даже не заметила этого, а как только вышла из воды, по воде поплыли три алых мака. А были бы жабы не ядовиты и не целованы ведьмой, превратились бы они в алые розы. Так невинна была Элиза, что колдовство оказалось против неё бессильным.

Увидала это злая королева, натёрла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем чёрной, вымазала ей лицо вонючей мазью, разлохматила волосы. Совсем теперь было не узнать хорошенькую Элизу.

Увидел её отец, испугался и сказал, что не его это дочь. Никто не признавал её, кроме цепной собаки да ласточек, только кто же станет слушать бедных тварей!

Заплакала бедняжка Элиза и подумала о своих выгнанных братьях. Печальная, ушла она из дворца и целый день брела по полям и болотам к большому лесу. Куда ей идти, она и сама толком не знала, но так тяжко было у неё на сердце и так стосковалась она по своим братьям, что решила искать их, пока не найдёт.

Не долго шла она по лесу, как уж ночь настала. Совсем

сбилась с пути Элиза, прилегла на мягкий мох и склонила голову на пень. Тихо было в лесу, воздух был такой тёплый, вокруг зелёными огоньками мерцали сотни светлячков, и когда она тихонько тронула ветку, они посыпались на неё звёздным дождём.

Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали алмазными грифелями на золотых досках и рассматривали чудесную книжку с картинками, за которую было отдано полкоролевства. Но писали они на досках не чёрточки и нолики, как прежде, нет, они описывали всё, что видели и пережили. Все картинки в книжке ожили, птицы пели, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и её братьями, но когда она переворачивала страницу, они впрыгивали обратно, чтоб не получалось путаницы в картинках.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко. Она не могла хорошо видеть его за густою листвой деревьев, но лучи его реяли в вышине, словно колеблющаяся золотая кисея. Пахло травой, а птицы чуть не садились Элизе на плечи. Слышался плеск воды – поблизости бежало несколько больших ручьёв, вливавшихся в пруд с чудесным песчаным дном. Пруд был окружён густыми кустами, но в одном месте дикие олени проделали большой проход, и Элиза могла спуститься к воде, такой прозрачной, что, если бы ветер не колыхал ветви деревьев и кустов, можно было бы подумать, что они нарисованы на дне, так ясно отражался в воде каждый листочек, и освещённый солнцем, и укрытый в тени.

Увидала в воде своё лицо Элиза и совсем перепугалась – такое оно было чёрное и гадкое. Но вот она зачерпнула горстью воды, обмыла лоб и глаза, и опять заблестела её белая неясная кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в прохладную воду. Краше принцессу поискать было по всему свету!

Оделась Элиза, заплела в косы свои длинные волосы и пошла к роднику, напилась из пригоршни и побрела дальше в лес, сама не зная куда. По пути ей попалась дикая яблоня, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Поела Элиза яблочек, подперла ветви колышками и углубилась в самую чащу леса. Тишина стояла такая, что Элиза слышала собственные шаги и шуршание каждого сухого листка, на который ступала. Здесь не было видно ни одной птицы, ни один солнечный луч не пробивался сквозь сплошное сплетение ветвей. Высокие деревья стояли так плотно, что, когда она смотрела перед собой, казалось ей, что её окружают бревенчатые стены. Никогда ещё Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало ещё темнее, ни единого светлячка не светилось

во мху. Печальная, улеглась Элиза на траву, а рано утром отправилась дальше. Тут встретилась ей старушка с корзинкой ягод. Старушка дала Элизе горстку ягод, а Элиза спросила, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев.

– Нет, – отвечала старушка. – Но вот одиннадцать лебедей в коронах видела, они плавали на реке тут неподалёку.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала речка. Деревья, росшие по её берегам, тянули друг к другу длинные, покрытые густой листвой ветви, и там, где они не могли дотянуться друг до друга, их корни выпирали из земли и, сплетясь с ветвями, свисали над водой.

Элиза простилась со старушкой и пошла вдоль речки к тому месту, где речка впадала в большое море.

И вот перед девушкой открылось чудесное море. Но ни единого паруса не виднелось на нём, ни единой лодки. Как же ей было продолжать свой путь? Весь берег был усыпан бессчётными камешками, вода обкатала их, и они были совсем круглые. Стекло, железо, камни – всё, что выбросило волнами на берег, получило свою форму от воды, а ведь вода была куда мягче нежных рук Элизы.

«Волны неутомимо катятся одна за другой и сглаживают всё твёрдое, буду и я неутомимой! Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесёте меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем водорослях лежало одиннадцать белых лебединых перьев, и Элиза собрала их в пучок. На них блестели капли – росы или слёз, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не замечала этого: море вечно менялось, и за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем за целый год на пресноводных озёрах на суше. Вот надвигается большая чёрная туча, и море как будто говорит: «Я тоже могу выглядеть мрачным», – и налетает ветер, и волны показываются своей белой изнанкой. А вот облака отсвечивают розовым, ветер спит, и море похоже на лепесток розы. Иной раз оно зелёное, иной раз белое, но как бы спокойно оно ни было, у берега оно постоянно в тихом движении. Вода легонько вздымается, словно грудь спящего ребенка.

На закате увидала Элиза одиннадцать диких лебедей в золотых коронах. Они летели к суше, следуя один за другим, и похоже было, что в небе колышется длинная белая лента. Элиза взобралась на верх береговой кручи и спряталась за куст. Лебеди спустились неподалеку и захлопали своими большими белыми крыльями.

И вот как только солнце село в море, сбросили лебеди перья

и превратились в одиннадцать прекрасных принцев – братьев Элизы. Громко вскрикнула Элиза, сразу узнала их, сердцем почуяла, что это они, хотя братья сильно изменились. Она бросилась к ним в объятия, называла их по именам, и как же они обрадовались, увидав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела! И смеялись и плакали Элиза и её братья и скоро узнали друг от друга, как жестоко обошлась с ними мачеха.

– Мы, – сказал самый старший из братьев, – летаем дикими лебедями, пока солнце стоит на небе. А когда оно заходит, опять принимаем человеческий образ. Вот почему к заходу солнца мы всегда должны быть на суше. Случись нам превратиться в людей, когда мы летим под облаками, мы упадём в пучину. Живём мы не здесь. За морем лежит такая же чудесная страна, как эта, но путь туда далёк, приходится лететь через всё море, а по пути нет ни единого острова, где можно было бы переночевать. Только на самой середине из моря торчит одинокий утёс, и мы можем отдохнуть на нём, тесно прижавшись друг к дружке, вот какой он маленький. Когда море волнуется, брызги так и летят прямо через нас, но мы рады и такому пристанищу. Там ночуем мы в нашем человеческом обличье. Не будь утёса, нам бы и вовсе не видать нашей милой родины: два самых длинных дня в году нам надо для этого перелёта, и только раз в году дозволено нам прилетать на родину. Мы можем жить здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, смотреть на дворец, где мы родились и где живёт наш отец. Тут нам знаком каждый куст, каждое дерево, тут, как в дни нашего детства, бегают по равнинам дикие лошади, а угольщики поют те же песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда стремимся мы всей душой, и здесь-то мы и нашли тебя, дорогая наша сестрица! Два дня ещё можем мы пробыть здесь, а затем должны лететь за море в чудесную, но не родную нам страну. Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки!

– Ах, если б я могла снять с вас заклятье! – сказала сестра. Так проговорили они всю ночь и задремали лишь на несколько часов.

Проснулась Элиза от шума лебединых крыльев. Братья вновь обратились в птиц, они кружили над ней, а потом скрылись из виду. Только один из лебедей, самый младший, остался с ней. Он положил голову ей на колени, и она гладила его белые крылья. Весь день провели они вместе, а к вечеру прилетели остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

– Завтра мы должны улететь и сможем вернуться не раньше чем через год. Хватит у тебя мужества лететь с нами? Я один могу пронести тебя на руках через весь лес, так неужто мы все не

сможем перенести тебя на крыльях через море?

– Да, возьмите меня с собой! – сказала Элиза.

…Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Большая и прочная вышла сетка. Элиза легла в неё, и чуть взошло солнце, братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами и взвились с милой, ещё спавшей сестрицей под облака. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, и один лебедь летел над её головой, прикрывая её от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было лететь по воздуху. Рядом с ней лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал самый младший из братьев, и Элиза улыбнулась ему – она догадалась, что это он летит над ней и прикрывает её от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако – настоящая гора! – и на нём Элиза увидела гигантские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Никогда раньше не видела она такого великолепного зрелища. Но всё выше поднималось солнце, всё дальше позади оставалось облако, и мало-помалу движущиеся тени исчезли.

Целый день летели лебеди, словно пущенная из лука стрела, но всё же медленнее обычного, ведь на этот раз им приходилось нести сестру. Близился вечер, собиралась буря. Со страхом следила Элиза за тем, как заходит солнце, – одинокого морского утёса всё ещё не было видно. И ещё ей казалось, что лебеди машут крыльями как будто бы через силу. Ах, это она виновата, что они не могут лететь быстрее! Вот зайдет солнце, и они обратятся в людей, упадут в море и утонут…

Чёрная туча надвигалась всё ближе, сильные порывы ветра предвещали бурю. Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой.

Солнце уже коснулось воды, сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Элизе показалось, будто они падают. Но нет, они продолжали лететь. Вот солнце наполовину скрылось под водой, и тут только Элиза увидела под собою утёс не больше головы тюленя, высунувшегося из воды. Солнце быстро погружалось в море и казалось теперь не больше звезды. Но вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва умещались на утёсе. Волны с силой ударяли в него и обдавали их брызгами.

Небо не переставая озарялось молниями, каждую минуту гремел гром, но сестра и братья, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение.

На рассвете опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, лебеди с Элизой полетели дальше. Море ещё волновалось, и с высоты было видно, как плывёт по тёмно-зелёной воде, точно несметные голубиные стаи, белая пена.

Но вот солнце поднялось выше, и Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну с глыбами сверкающего льда на скалах, а прямо посередине высился замок, растянувшийся, наверное, на целую милю, с какими-то удивительными галереями одна над другой. Внизу под ним колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы величиной с мельничные колёса. Элиза спросила, не та ли это страна, куда они держат путь, но лебеди только покачали головами: это был всего лишь чудесный, вечно меняющий очертания облачный замок Фата-Морганы.

Элиза всё смотрела и смотрела на него, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе и образовали двадцать величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами.

Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви совсем было приблизились, как вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымающийся над водой. Да, перед глазами у неё были вечно сменяющиеся образы и картины!

Но вот показалась и суша, к которой они держали путь. Там высились чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, словно обвешанной расшитыми зелёными коврами, так обросла она нежно-зелёными вьющимися растениями.

– Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! – молвил младший из братьев и указал сестре её спальню.

– Ах, если бы мне открылось во сне, как снять с вас заклятье! – отвечала она, и эта мысль не выходила у неё из головы.

И вот пригрезилось ей, будто она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы и фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах.

«Твоих братьев можно спасти, – сказала она. – Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих рук и всё-таки

окатывает камни, но она не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое стало бы изнывать от муки и страха, как твоё. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растёт здесь возле пещеры, и только она, да ещё та, что растёт на кладбищах, может помочь тебе. Заметь же её! Ты нарвёшь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнёшь её ногами, получится волокно. Из него ты сплетёшь одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство развеется. Но помни, что с той минуты, как ты начнёшь работу, и до тех пор, пока не окончишь, пусть даже она растянется на годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвётся у тебя с языка, как смертоносный кинжал пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Запомни всё это!»

И фея коснулась её руки крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Уже рассвело, и рядом с нею лежала крапива, точь-в-точь как та, что она видела во сне. Элиза вышла из пещеры и принялась за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки её покрывались волдырями, но она с радостью терпела боль – только бы спасти милых братьев! Босыми ногами она разминала крапиву и пряла зелёные нити.

Но вот зашло солнце, вернулись братья, и как же они испугались, увидя, что сестра их стала немой! Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на её руки и поняли, что она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слезы, боль утихала, жгучие волдыри исчезали.

Всю ночь провела за работой Элиза, ведь не было ей покоя, пока не освободит она милых братьев. И весь следующий день, пока лебеди были в отлучке, просидела она одна-одинёшенька, но никогда ещё время не бежало для неё так быстро.

Одна рубашка-панцирь была готова, и она принялась за другую, как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза. А звуки всё приближались, раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него.

Тут из-за кустов выскочила большая собака, за ней другая, третья. Собаки громко лаяли и бегали взад и вперёд у входа в пещеру. Не прошло и нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый среди них был король той страны. Он подошёл к Элизе – никогда ещё не встречал он такой красавицы.

– Как ты попала сюда, прекрасное дитя? – спросил он, но Элиза только головой покачала в ответ, ведь говорить-то ей нельзя было, от этого зависела жизнь и спасение братьев.

Руки свои она спрятала под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть.

– Пойдём со мной! – сказал он. – Здесь тебе не место! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шёлк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моём великолепном дворце!

И он посадил её на своего коня. Плакала и ломала руки Элиза, но король сказал:

– Я хочу только твоего счастья! Когда-нибудь ты будешь благодарна мне за это!

И он повёз её через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру показалась великолепная столица короля, с храмами и куполами, и привёл король Элизу в свой дворец. В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Как неживая позволила она прислужницам надеть на себя королевские одежды, вплести в волосы жемчуга и натянуть на обожжённые пальцы тонкие перчатки.

Ослепительно прекрасная стояла она в роскошном убранстве, и весь двор низко ей поклонился, а король провозгласил её своею невестой, хотя архиепископ покачивал головой и нашёптывал королю, что эта лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела всем глаза и околдовала короля.

Но король не стал его слушать, сделал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать дорогие кушанья, а сам повёл Элизу через благоухающие сады в роскошные палаты. Но не было улыбки ни на губах, ни в глазах её, а только печаль, словно было ей так на роду написано. Но вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с её спальней. Комнатка была увешана дорогими зелёными коврами и напоминала пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетённая Элизой рубашка-панцирь. Всё это как диковинку захватил с собой из лесу один из охотников.

– Здесь ты можешь вспоминать своё прежнее жилище! – сказал король. – Здесь и работа, которой ты занималась. Может быть, теперь, в славе твоей, воспоминания о прошлом развлекут тебя.

Увидела Элиза дорогую её сердцу работу, и улыбка заиграла на её губах, кровь прилила к щекам. Она подумала о спасении

братьев и поцеловала королю руку, а он прижал её к сердцу.

Архиепископ по-прежнему нашёптывал королю злые речи, но они не доходили до сердца короля. На другой день сыграли свадьбу. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но другой, более тяжёлый обруч сдавливал ей сердце – печаль за её братьев, и она не заметила боли. Уста её были по-прежнему замкнуты – одно-единственное слово могло стоить братьям жизни, – но в глазах её светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал всё, чтобы порадовать её. С каждым днём она привязывалась к нему больше и больше. Ах, если б только можно было довериться ему, поведать ему свою муку! Но она должна была молчать, должна была делать своё дело молча. Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой. Но когда она принялась за седьмую, у неё кончилось волокно.

Найти нужную ей крапиву, знала она, можно на кладбище, но она сама должна была рвать её. Как же быть?

«Ах, что значит боль в пальцах по сравнению с мукой моего сердца? – думала Элиза. – Я должна решиться!»

Сердце её сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на неё злыми глазами, но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел её – архиепископ. Только получалось, что он был прав, подозревая, что с королевой дело нечисто. И впрямь выходило, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля и весь народ.

Утром он рассказал королю о том, что видел и что подозревал. Две тяжёлые слёзы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, но сон не шёл к нему, и заметил король, как Элиза встала и скрылась из опочивальни. И так повторялось каждую ночь, и каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате.

День ото дня всё мрачнел и мрачнел король. Элиза видела это, но не понимала почему, и боязно ей было, и сердце её болело за братьев. На королевский бархат и пурпур катились её горькие слёзы. Они блестели, как алмазы, и люди, видевшие её в великолепном одеянии, желали быть на её месте.

Но скоро, скоро конец работе! Недоставало всего лишь одной рубашки, и тут у неё опять кончилось волокно. Ещё раз – последний – нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и ужасных ведьмах, но решимость её была непоколебима.

И Элиза пошла, но король с архиепископом пошли за ней следом. Увидели они, как она скрылась за кладбищенскими воротами, а когда подошли к воротам, увидели и ведьм на могильных плитах, и король повернул назад.

– Пусть судит её народ! – сказал он.

И народ присудил – сжечь её на костре.

Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное сырое подземелье с решёткой на окне, в которое со свистом задувал ветер. Вместо бархата и шёлка ей дали под голову связку набранной ею на кладбище крапивы, а жёсткие, жгучие рубашки-панцири должны были служить ей ложем и одеялом. Но лучшего подарка ей и не надо было, и она вновь принялась за работу. Уличные мальчишки пели ей за окном глумливые песни, и ни одна живая душа не нашла для неё слова утешения.

Но под вечер у решётки раздался шум лебединых крыльев – это отыскал сестру младший из братьев, и она заплакала от радости, хотя и знала, что жить ей осталось, быть может, всего одну ночь. Зато работа её была почти закончена и братья были тут!

Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Чтобы хоть немножко помочь ей, мыши, бегавшие по подземелью, приносили к её ногам стебли крапивы, а у решётки окна сел дрозд и всю ночь подбодрял её своей весёлой песней.

Ещё только начинался рассвет, и солнце должно было показаться лишь через час, а к воротам дворца уже явились одиннадцать братьев и потребовали, чтобы их пропустили к королю. Им отвечали, что это никак невозможно: король спит, и его нельзя будить. Братья продолжали просить, потом стали угрожать, явилась стража, а потом вышел и сам король узнать, в чём дело. Но тут взошло солнце, и братья исчезли, а над дворцом взлетели одиннадцать лебедей.

Народ валом валил за город смотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча тащила повозку, в которой сидела Элиза. На неё накинули балахон из грубой мешковины. Её чудные, дивные волосы спадали на плечи, в лице не было ни кровинки, губы беззвучно шевелились, а пальцы плели зелёную пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук свою работу. У её ног лежали десять рубашек-панцирей, одиннадцатую она

плела. Толпа глумилась над нею.

– Посмотрите на ведьму! Ишь, шамкает губами да всё никак не расстанется со своими колдовскими штуками! Вырвать их у неё да порвать в клочья!

И толпа бросилась к ней и хотела разорвать крапивные рубашки, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг неё по краям повозки и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула.

– Это знамение небесное! Она невинна! – шептали многие, но сказать это вслух не решались.

Вот палач уже схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев, только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло: не успела Элиза докончить последнюю рубашку, недоставало в ней одного рукава.

– Теперь я могу говорить! – сказала она. – Я невинна! И народ, видевший всё, преклонился перед ней, а она без чувств упала в объятия братьев, так измучена была она страхом и болью.

– Да, она невинна! – молвил старший из братьев и рассказал всё, как было, и, пока он говорил, в воздухе разлился аромат, как от миллиона роз, – это каждое полено в костре пустило корни и ветви, и вот уже на месте костра стоял благоухающий куст, весь в алых розах. А на самом верху сиял, словно звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его и положил Элизе на грудь, и она очнулась, и в сердце её были покой и счастье.

Тут сами собой зазвонили в городе все колокола, и слетелись несметными стаями птицы, и к дворцу потянулось такое радостное шествие, какого ещё не видывал ни один король!

Перро Ш.
Кот в сапогах (пересказ Т. Габбе)

Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота.

Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили всё их небогатое наследство.

Старшему досталась мельница. Среднему осёл. Ну а уж младшему пришлось взять себе кота.

Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства.

Братья, говорил он, – могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что станется со мною после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту?

Прямо хоть с голоду помирай!

Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно:

– Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется.

Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей, как ловко он прикидывался мёртвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде!

Едва только кот получил всё, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. А в мешке у него были отруби и заячья капуста.

Растянувшись на траве и притворившись мёртвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, ещё не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберётся в мешок, чтобы полакомиться припасённым для него

угощением.

Долго ждать ему не пришлось: какой-то молоденький доверчивый простачок кролик сразу же прыгнул к нему в мешок.

Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и покончил с кроликом безо всякого милосердия.

После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приёма у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал:

– Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса (такое имя выдумал он для своего хозяина). Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок.

– Поблагодари своего господина, – ответил король, – и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие.

Несколько дней спустя кот пошёл на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок.

На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понёс обеих королю.

Король охотно принял и этот подарок и приказал дать коту на чай.

Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом.

И вот как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки.

Согласны вы послушаться моего совета? – спросил он своего хозяина. – В таком случае счастье у нас в руках. Всё, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне.

Маркиз де Карабас послушно исполнил всё, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время как он купался, королевская карета выехала на берег реки.

Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи:

– Сюда, сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!

Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса.

Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли всё до нитки. (А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем.)

Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба.

Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в её вкусе.

Когда же маркиз де Карабас бросил в её сторону два-три взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти.

Отцу её молодой маркиз тоже пришёлся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке.

Кот был в восторге оттого, что все идёт как по маслу, и весело побежал перед каретой.

По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено.

Эй, люди добрые, – крикнул он на бегу, – если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, словно начинку для пирога! Так и знайте!

Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна:

– Чей это луг вы косите?

– Маркиза де Карабаса! – в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами.

– Однако, маркиз, у вас тут славное имение! – сказал король.

– Да, государь, этот луг каждый год даёт отличное сено, – скромно ответил маркиз.

Между тем дядюшка-кот бежал всё вперёд и вперёд, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле.

– Эй, люди добрые, – крикнул он, – если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте: всех вас изрубят в куски, словно начинку для пирога!

Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они жнут.

– Поля маркиза де Карабаса, – ответили жнецы. И король опять порадовался за господина маркиза. А кот всё бежал вперёд и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же: «Это дом маркиза де Карабаса», «это мельница маркиза де Карабаса», «это сад маркиза де Карабаса». Король не мог надивиться богатству молодого маркиза.

И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении.

Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чём его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения.

Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть.

– Меня уверяли, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона…

– Могу! – рявкнул великан. – И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом! Смотри!

Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хотя это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице.

Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху.

А ещё меня уверяли, – сказал он, – но уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным.

– Ах, вот как! Невозможным? – переспросил великан. – А ну-ка, погляди!

И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил.

Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда.

Кот услыхал, как гремят на подъёмном мосту колёса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю:

– Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!

– Как, господин маркиз?! – воскликнул король. – Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете.

Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повёл её вслед за королём, который, как полагается, шёл впереди.

Все втроём они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин.

Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король.

Король был очарован достоинствами господина маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума.

Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив пять-шесть кубков,

сказал:

– Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас. А я согласен.

Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе.

А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка – для собственного удовольствия.

4 класс

Народные былины и сказки

Былины о Добрыне Никитиче

Добрыня и Алёша

Во стольном городе во Киеве,
А у ласкового князя у Владимира,
Заводился у князя почестный пир
А на многи князя, на бояра
И на все поляницы удалые.
Все на пиру напивалися,
Все на пиру наедалися,
Все на пиру да пьяны-веселы.
Говорит Владимир стольно-киевский:
– Ай же вы князи мои, бояра,
Сильные могучие богатыри!
А кого мы пошлём в Золоту Орду
Выправлять-то даней-выходов
А за старые года, за новые –
За двенадцать лет.
А Алёшу Поповича нам послать,
Так он, молодец, холост, не женат:
Он с девушками загуляется,
С молодушками он да забалуется.
А пошлём-те мы Добрынюшку Никитича:
Он молодец женат, не холост,
Он и съездит нынь в Золоту Орду,
Выправит дани-выходы
Да за двенадцать лет.
Написали Добрыне Никитичу посольный лист.
А приходит Добрынюшка Никитинич к своей матушке,
А к честной вдове Амельфе Тимофеевне,
Просит у ней прощеньица-благословеньица:
– Свет государыня, моя матушка!
Дай ты мне прощение-благословеньице
Ехать-то мне в Золоту Орду,
Выправлять-то дани-выходы за двенадцать лет.
Остаётся у Добрыни молода жена,
Молода жена, любима семья,
Молода Настасья Микулична.
Поезжат Добрыня, сам наказыват:

– Уж ты ай же моя молода жена,
Молода жена, любима семья,
Жди-тко Добрыню с чиста поля меня три года.
Как не буду я с чиста поля да перво три года,
Ты ещё меня жди да и друго три года.
Как не буду я с чиста поля да друго три года,
Да ты ещё меня жди да третье три года.
Как не буду я с чиста поля да третье три года,
А там ты хоть вдовой живи, а хоть замуж поди,
Хоть за князя поди, хоть за боярина,
А хоть за сильного поди ты за богатыря.
А только не ходи ты за смелого Алёшу Поповича,
Смелый Алёша Попович мне крестовый брат[16],
А крестовый брат паче родного.
Как видели-то молодца седучись,
А не видели удалого поедучись.
Да прошло тому времечка девять лет,
А не видать-то Добрыни из чиста поля.
А как стал-то ходить князь Владимир свататься
Да на молодой Настасье Микуличне
А за смелого Алёшу Поповича:
– А ты с-добра не пойдёшь, Настасья Микулична,
Так я тебя возьму в портомойницы,
Так я тебя возьму ещё в постельницы,
Так я тебя возьму ещё в коровницы.
– Ах ты, солнышко Владимир стольно-киевский!
Ты ещё прожди-тко три года.
Как не будет Добрыня четвёрто три года,
Так я пойду за смелого Алёшу за Поповича.
Да прошло тому времени двенадцать лет,
Не видать, не видать Добрынюшки с чиста поля.
Ай тут пошла Настасья Микулична
Да за смелого Алёшу Поповича.
Да пошли они пировать-столовать к князю Владимиру.
Ажно мало и по мало из чиста поля
Наезжал удалой дородный добрый молодец.
А сам на коне быв ясен сокол,
А конь тот под ним будто лютый зверь.
Приезжает ко двору да ко Добрынину –
Приходит Добрыня Никитич тут
В дом тот Добрыниный.
Он крест тот кладёт по-писаному,
Да поклон тот ведёт по-учёному,
Поклон ведёт да сам здравствует:

– Да ты здравствуй, Добрынина матушка!
Я вчера с твоим Добрынюшкой разъехался,
Он велел подать гусли скоморошные,
Он велел подать платья скоморошьи,
Он велел подать дубинку скоморошью,
Да идти мне ко князю Владимиру да на почестен пир.
Говорит тут Добрынина матушка:
– Отойди прочь, детина засельщина,
Ты засельщина детина, деревенщина!
Как ходят старухи кошельницы,
Только носят вести недобрые:
Что лежит убит Добрынюшка в чистом поле,
Головой лежит Добрыня ко Пучай-реке,
Резвыми ножками Добрыня во чисто поле,
Скрозь его скрозь кудри скрозь жёлтые
Проросла тут трава муравая,
На траве расцвели цветочки лазуревы,
Как его-то теперь молода жена,
Молода жена, любима семья,
Да выходит-то за смелого Алёшу за Поповича.
Он ей и говорит-то второй након:
– Да ты здравствуй ли, Добрынина матушка,
Ты честна вдова Амельфа Тимофеевна!
Я вчера с твоим Добрынюшкой разъехался.
Он велел подать гусли скоморошные,
Он велел подать платья скоморошьи,
Он велел подать дубинку скоморошью
Да идти мне к князю Владимиру да на почестен пир.
– Отойди прочь, детина засельщина!
Кабы было живо моё красное солнышко,
Молодой тот Добрынюшка Никитинич,
Не дошло бы те, невеже, насмехатися,
Уж не стало моего красного солнышка,
Да не что мне делать с платьями скоморошьими,
Да не что мне делать с гуслями скоморошьими,
Да не что мне делать с дубинкой скоморошьею.
Тут-то ходила в погреба глубоки,
Принесла она платья скоморошьи,
Приносила гуселышки яровчаты,
Принесла она дубину скоморошью.
Тут накрутился молодой скоморошинко,
Удалый добрый молодец,
Да пошёл он к князю Владимиру на почестный пир.
Приходил он во гридню столовую,

Он крест тот кладёт по-писаному,
Да поклон ведёт по-учёному,
Он кланяется да поклоняется
Да на все на четыре на стороны.
Он кланяется там и здравствует:
– Здравствуй, солнышко Владимир стольно-киевский,
Да со многими с князьями и со боярами,
Да со русскими могучими богатырями,
Да со своей-то с душечкой со княгиней со Апраксией!
Говорит ему князь Владимир стольно-киевский:
– Да ты поди-тко, молода скоморошинка!
А все тыи места у нас нынь заняты,
Да только местечка немножечко
На одной-то печке на муравленой.
Да тут скочил молода скоморошинка
А на тую-ту печку на муравлену.
Заиграл он в гуселушки яровчаты.
Он первую завёл от Киева до Ерусолима,
Он другу завёл от Ерусолима да до Царяграда,
А все пошли напевки-то Добрынины.
Ай тут-то князь Владимир распотешился,
Говорит он молодой скоморошинке:
– Подь-тко сюды, молода скоморошинка!
А я тебе дам теперь три места:
А первое-то место подле меня,
А другое место опротив меня,
Третьее противо княгини Настасьи Микуличны.
А тут-то молода скоморошинка
Садился он в скамейку дубовую,
Да противо Настасьи Микуличны.
А тут-то Настасья Микулична
Наливала она чару зелена вина в полтора ведра
Да турий тот рог мёду сладкого,
Подносила она Добрынюшке Никитичу.
А й тут-то Добрынюшка Никитинич
Да брал он чару зелена вина в полтора ведра,
А брал он чару единой рукой,
Выпивал он чару на единый дух,
Да й турий рог выпил мёду сладкого,
Да спускал он в чару перстень злачёный,
Которым перстнем с ней обручался он.
Да говорит он Настасье Микуличне:
– Ты гляди-тко, Настасья Микулична,
Во чару гляди-тко злачёную.

Как поглядела Настасья Микулична
В тую чару золочёную,
Взяла в руки злачён перстень.
Говорит тут Настасья Микулична:
– Да не тот муж – который подле меня сидит,
А тот мой муж – который противо меня сидит.
А тут-то Добрыня Никитинич,
Да скочил Добрыня на резвы ноги,
Да брал Алёшу за жёлты кудри,
Да он выдёргивал из-за стола из-за дубового,
А стал он по гридне потаскивать,
Да стал он Алёше приговаривать:
– Не дивую я разуму женскому,
Да дивую я ти, смелый Алёша Попович ты,
А ты-то, Алёшенька, да мне крестовый брат.
Да ещё тебе дивую, старый ты
Князь Владимир стольно-киевский!
А сколько я те делал выслуг-то великиих,
А ты всё, Владимир, надо мной надсмехаешься.
Да теперь я выправил из Золотой Орды,
Выправил дани и выходы
За старые годы, за новые.
Везут тебе три телеги ордынские:
Три телеги злата и серебра.
Тут он взял свою молоду жену,
Молоду жену, любиму семью,
Да повёл Добрыня к своей матушке.
Да тут ли Алёшенька Попович тот,
Да ходит по гридне окоракою[17],
А сам ходит приговаривает:
– Да всяк-то на сём свете женится,
Да не всякому женитьба удавается.
А только Алёшенька женат бывал.

Добрыня и Змей

Добрынюшке-то матушка говаривала,
Да и Никитичу-то матушка наказывала:
– Ты не езди-ка далече во чисто поле,
На тую гору да сорочинскую,
Не топчи-ка младыих змеёнышей,
Ты не выручай-ка полонов да русских,
Не купайся, Добрыня, во Пучай-реке,

Та Пучай-река очень свирепая,
А середняя-то струйка как огонь сечёт!

А Добрыня своей матушки не слушался.
Как он едет далече во чисто поле,
А на тую на гору сорочинскую,
Потоптал он младыих змеёнышей,
А й повыручил он полонов да русских.

Богатырско его сердце распотелося,
Распотелось сердце, нажаделося –
Он приправил своего добра коня,
Он добра коня да ко Пучай-реке,
Он слезал, Добрыня, со добра коня,
Да снимал Добрыня платье цветное,
Да забрёл за струечку за первую,
Да он забрёл за струечку за среднюю
И сам говорил да таковы слова:
– Мне, Добрынюшке, матушка говаривала,
Мне, Никитичу, маменька и наказывала:
Что не езди-ка далече во чисто поле,
На тую гору на сорочинскую,
Не топчи-ка младыих змеёнышей,
А не выручай полонов да русских,
И не купайся, Добрыня, во Пучай-реке,
Но Пучай-река очень свирепая,
А середняя-то струйка как огонь сечёт!
А Пучай-река – она кротка-смирна,
Она будто лужа-то дождевая!
Не успел Добрыня словца смолвити –
Ветра нет, да тучу нанесло,
Тучи нет, да будто дождь дождит,
А и дождя-то нет, да только гром гремит,
Гром гремит да свищет молния –
А как летит Змеище Горынище
О тыех двенадцати о хоботах.
А Добрыня той Змеи не приужахнется.
Говорит Змея ему проклятая:
– Ты теперича, Добрыня, во моих руках!
Захочу – тебя, Добрыня, теперь потоплю,
Захочу – тебя, Добрыня, теперь съем-сожру,
Захочу – тебя, Добрыня, в хобота возьму,
В хобота возьму, Добрыня, во нору снесу!
Припадает Змея как ко быстрой реке,
А Добрынюшка-то плавать он горазд ведь был:
Он нырнёт на бережок на тамошний,
Он нырнёт на бережок на здешниий.
А нет у Добрынюшки добра коня,
Да нет у Добрыни платьев цветныих –
Только-то лежит один пухов колпак,
Да насыпан тот колпак да земли греческой[18],
По весу тот колпак да в целых три пуда[19].
Как ухватил он колпак да земли греческой,

Он шибнёт во Змею да во проклятую –
Он отшиб Змеи двенадцать да всех хоботов.
Тут упала-то Змея да во ковыль-траву,
Добрынюшка на ножку он был повёрток,
Он скочил на змеиные да груди белые.
На кресте-то у Добрыни был булатный нож –
Он ведь хочет распластать ей груди белые.
А Змея Добрыне ему взмолилася:
– Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинич!
Мы положим с тобой заповедь великую:
Тебе не ездити далече во чисто поле,
На тую на гору сорочинскую,
Не топтать больше младыих змеёнышей,
А не выручать полонов да русских,
Не купаться ти, Добрыне, во Пучай-реке.
И мне не летать да на святую Русь,
Не носить людей мне больше русских,
Не копить мне полонов да русских.
Он повыпустил Змею как с-под колен своих –
Поднялась Змея да вверх под облако.
Случилось ей лететь да мимо Киев-града.
Увидала она Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну,
Идучи по улице по широкоей.
Тут припадает Змея да ко сырой земле,
Захватила она Князеву племянницу,
Унесла в нору да во глубокую.
Тогда солнышко Владимир стольно-киевский
А он по три дня да тут былиц кликал[20],
А былиц кликал да славных рыцарей:
– Кто бы мог съездить далече во чисто поле,
На тую на гору сорочинскую,
Сходить в нору да во глубокую,
А достать мою, князеву, племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну?
Говорил Алёшенька Левонтьевич:
– Ах ты, солнышко Владимир стольно-киевский
Ты накинь-ка эту службу да великую
На того Добрыню на Никитича
У него ведь со Змеёю заповедь положена,
Что ей не летать да на святую Русь,
А ему не ездить далече во чисто поле,
Не топтать-то младыих змеёнышей
Да не выручать полонов да русских.

Так возьмёт он Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну,
Без бою, без драки-кроволития. –
Тут солнышко Владимир стольно-киевский
Как накинул эту службу да великую
На того Добрыню на Никитича –
Ему съездить далече во чисто поле
И достать ему Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну.
Он пошёл домой, Добрыня, закручинился,
Закручинился Добрыня, запечалился.
Встречает государыня да родна матушка,
Та честна вдова Офимья Александровна:
– Ты эй, рожено моё дитятко,
Молодой Добрыня сын Никитинец!
Ты что с пиру идёшь не весел-де?
Знать, что место было ти не по чину,
Знать, чарой на пиру тебя приобнесли
Аль дурак над тобою насмеялся-де?
Говорил Добрыня сын Никитинец:
– Ты эй, государыня да родна матушка,
Ты честна вдова Офимья Александровна!
Место было мне-ка по чину,
Чарой на пиру меня не обнесли,
Да дурак-то надо мной не насмеялся ведь,
А накинул службу да великую
А то солнышко Владимир стольно-киевский,
Что съездить далече во чисто поле,
На тую гору да на высокую,
Мне сходить в нору да во глубокую,
Мне достать-то Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну.
Говорит Добрыне родна матушка,
Честна вдова Офимья Александровна:
– Ложись-ка спать да рано с вечера,
Так утро будет очень мудрое –
Мудренее утро будет оно вечера.
Он вставал по утрушку ранёшенько,
Умывается да он белёшенько,
Снаряжается он хорошохонько.
Да йдёт на конюшню на стоялую,
А берёт в руки узду он да тесьмяную,
А берёт он дедушкова да ведь добра коня,
Он поил Бурка питьём медвяным,

Он кормил пшеной да белояровой,
Он седлал Бурка в седёлышко черкасское,
Он потнички да клал на спинушку,
Он на потнички да кладёт войлочки,
Клал на войлочки черкасское седёлышко,
Всех подтягивал двенадцать тугих подпругов,
Он тринадцатый-то клал да ради крепости,
Чтобы добрый конь-то с-под седла не выскочил,
Добра молодца в чистом поле не вырутил.
Подпруги были шёлковые,
А шпеньки у подпруг все булатные,
Пряжки у седла да красна золота –
Тот да шёлк не рвётся, да булат не трётся,
Красно золото не ржавеет,
Молодец-то на коне сидит да сам не стареет.
Поезжал Добрыня сын Никитинец,
На прощанье ему матушка да плётку подала,
Сама говорила таковы слова:
– Как будешь далече во чистом поле,
На тыи горы да на высокия,
Потопчешь младыих змеёнышей,
Повыручишь полонов да русских,
Как тыи-то младые змеёныши
Подточат у Бурка как они щёточки,
Что не сможет больше Бурушко поскакивать,
А змеёнышей от ног да он отряхивать,
Ты возьми-ка эту плёточку шёлковую,
А ты бей Бурка да промежу ноги,
Промежу ноги да промежу уши,
Промежу ноги да межу задние, –
Станет твой Бурушко поскакивать,
А змеёнышей от ног да он отряхивать –
Ты притопчешь всех да до единого.
Как будет он далече во чистом поле,
На тыи горы да на высокия,
Потоптал он младыих змеёнышей.
Как тыи ли младые змеёныши
Подточили у Бурка как они щёточки,
Что не может больше Бурушко поскакивать,
Змеёнышей от ног да он отряхивать.
Тут молодой Добрыня сын Никитинец
Берёт он плёточку шёлковую,
Он бьёт Бурка да промежу уши,
Промежу уши да промежу ноги,

Промежу ноги межу задние.
Тут стал его Бурушко поскакивать,
А змеёнышей от ног да он отряхивать,
Притоптал он всех да до единого.
Выходила как Змея она проклятая
Из тыи норы да из глубокия,
Сама говорит да таковы слова:
– Ах ты, эй, Добрынюшка Никитинец!
Ты, знать, порушил свою заповедь.
Зачем стоптал младыих змеёнышей,
Почто выручал полоны да русские?
Говорил Добрыня сын Никитинец:
– Ах ты, эй, Змея да ты проклятая!
Чёрт ли тя нёс да через Киев-град,
Ты зачем взяла Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Потятичну?
Ты отдай же мне-ка Князеву племянницу
Без боя, без драки-кроволития.
Тогда Змея она проклятая
Говорила-то Добрыне да Никитичу:
– Не отдам я тебе князевой племянницы
Без боя, без драки-кроволития!
Заводила она бой-драку великую.
Они дрались со Змеёю тут трои сутки,
Но не мог Добрыня Змею перебить.
Хочет тут Добрыня от Змеи отстать –
Как с небес Добрыне ему глас гласит:
– Молодой Добрыня сын Никитинец!
Дрался со Змеёю ты трои сутки,
Подерись со Змеёй ещё три часа:
Ты побьёшь Змею да ю, проклятую!
Он подрался со Змеёю ещё три часа,
Он побил Змею да ю, проклятую, –
Та Змея, она кровью пошла.
Стоял у Змеи он тут трои сутки,
А не мог Добрыня крови переждать.
Хотел Добрыня от крови отстать,
Но с небес Добрыне опять глас гласит:
– Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинец!
Стоял у крови ты тут трои сутки –
Постой у крови да ещё три часа,
Бери своё копьё да мурзамецкое
И бей копьём да во сыру землю,
Сам копью да приговаривай:

«Расступись-ка, матушка сыра земля,
На четыре расступись да ты на четверти!
Ты пожри-ка эту кровь да всю змеиную!»
Расступилась тогда матушка сыра земля,
Пожрала она кровь да всю змеиную.
Тогда Добрыня во нору пошёл.

Во тыи в норы да во глубокие,
Там сидит сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей да королевичей,
А простой-то силы – той и сметы нет.
Тогда Добрынюшка Никитинец
Говорил-то он царям да он царевичам
И тем королям да королевичам:
– Вы идите нынь туда, откель принесены.
А ты, молода Забава дочь Потятична, –
Для тебя я эдак теперь странствовал –
Ты поедем-ка ко граду ко Киеву
А и ко ласковому князю ко Владимиру.
И повёз молоду Забаву дочь Потятичну.

Илья Муромец и Соловей Разбойник (былина)

Из того ли то из города из Мурома,
Из того села да Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроме,
А и к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град.
Да и подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнано-то силушки черным-черно,
А и черным-черно, как черна ворона.
Так пехотою никто тут не прохаживат,
На добром коне никто тут не проезживат,
Птица чёрный ворон не пролётыват,
Серый зверь да не прорыскиват.
А подъехал как ко силушке великоей,
Он как стал-то эту силушку великую,
Стал конём топтать да стал копьём колоть,
А и побил он эту силу всю великую.
Он подъехал-то под славный под Чернигов-град,
Выходили мужички да тут черниговски
И отворяли-то ворота во Чернигов-град,
А и зовут его в Чернигов воеводою.
Говорит-то им Илья да таковы слова:
– Ай же мужички да вы черниговски!
Я не йду к вам во Чернигов воеводою.
Укажите мне дорожку прямоезжую,
Прямоезжую да в стольный Киев-град.
Говорили мужички ему черниговски:

– Ты, удаленький дородный добрый молодец,
Ай ты, славный богатырь да святорусский!
Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравела.
А и по той ли по дорожке прямоезжею
Да и пехотою никто да не прохаживал,
На добром коне никто да не проезживал.
Как у той ли то у Грязи-то у Чёрноей,
Да у той ли у берёзы у покляпыя,
Да у той ли речки у Смородины,
У того креста у Леванидова
Сидит Соловей Разбойник на сыром дубу,
Сидит Соловей Разбойник Одихмантьев сын.
А то свищет Соловей да по-соловьему,
Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному,
И от его ли то от посвиста соловьего,
И от его ли то от покрика звериного
Те все травушки-муравы уплетаются,
Все лазоревы цветочки осыпаются,
Тёмны лесушки к земле все приклоняются, –
А что есть людей – то все мертвы лежат.
Прямоезжею дороженькой – пятьсот есть вёрст,
Ай окольноей дорожкой – цела тысяча.
Он спустил добра коня да й богатырского,
Он поехал-то дорожкой прямоезжею.
Его добрый конь да богатырский
С горы на гору стал перескакивать,
С холмы на холмы стал перемахивать,
Мелки реченьки, озерка промеж ног пускал.
Подъезжает он ко речке ко Смородине,
Да ко тоей он ко Грязи он ко Чёрноей,
Да ко тою ко берёзе ко покляпыя,
К тому славному кресту ко Леванидову.
Засвистал-то Соловей да по-соловьему,
Закричал злодей-разбойник по-звериному –
Так все травушки-муравы уплеталися,
Да й лазоревы цветочки осыпалися,
Тёмны лесушки к земле все приклонилися.
Его добрый конь да богатырский
А он на корни да спотыкается –
Ай как старый-от казак да Илья Муромец
Берёт плёточку шёлковую в белу руку,
А он бил коня да по крутым рёбрам,
Говорил-то он, Илья, таковы слова:

– Ах ты, волчья сыть да й травяной мешок!
Али ты идти не хошь, али нести не можь?
Что ты на корни, собака, спотыкаешься?
Не слыхал ли посвиста соловьего,

Не слыхал ли покрика звериного,

Не видал ли ты ударов богатырских?
А и тут старыя казак да Илья Муромец
Да берёт-то он свой тугой лук разрывчатый,
Во свои берёт во белы он во ручушки.
Он тетивочку шелковеньку натягивал,
А он стрелочку калёную накладывал,
Он стрелил в того-то Соловья Разбойника,
Ему выбил право око со косицею,
Он спустил-то Соловья да на сыру землю,
Пристегнул его ко правому ко стремечку булатному,
Он повёз его по славну по чисту полю,
Мимо гнёздышка повёз да соловьиного.
Во том гнёздышке да соловьиноем
А случилось быть да и три дочери,
А и три дочери его любимыих.
Больша дочка – эта смотрит во окошечко косявчато,
Говорит она да таковы слова:
– Едет-то наш батюшка чистым полем,
А сидит-то на добром коне,
А везёт он мужичища-деревенщину
Да у правого у стремени прикована.
Поглядела как другая дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
– Едет батюшка раздольицем чистым полем,
Да и везёт он мужичища-деревенщину
Да и ко правому ко стремени прикована, –
Поглядела его меньша дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
– Едет мужичище-деревенщина,
Да и сидит мужик он на добром коне,
Да и везёт-то наша батюшка у стремени,
У булатного у стремени прикована –
Ему выбито-то право око со косицею.
Говорила-то она да таковы слова:
– Ай же мужевья наши любимые!
Вы берите-ко рогатины звериные,
Да бегите-ко в раздольице чисто поле,
Да вы бейте мужичища-деревенщину!
Эти мужевья да их любимые,
Зятевья-то есть да соловьиные,
Похватали как рогатины звериные,
Да и бежали-то они да и во чисто поле
Ко тому ли к мужичище-деревенщине,
Да хотят убить-то мужичища-деревенщину.

Говорит им Соловей Разбойник Одихмантьев сын:
– Ай же зятевья мои любимые!
Побросайте-ка рогатины звериные,
Вы зовите мужика да деревенщину,
В своё гнёздышко зовите соловьиное,
Да кормите его ествушкой сахарною,
Да вы пойте его питьецом медвяныим,
Да и дарите ему дары драгоценные!
Эти зятевья да соловьиные
Побросали-то рогатины звериные,
А и зовут мужика да и деревенщину
Во то гнёздышко да соловьиное.
Да и мужик-то деревенщина не слушался,
А он едет-то по славному чисту полю
Прямоезжею дорожкой в стольный Киев-град.
Он приехал-то во славный стольный Киев-град
А ко славному ко князю на широкий двор.
А и Владимир-князь он вышел со божьей церкви,
Он пришёл в палату белокаменну,
Во столовую свою во горенку,
Он сел есть да пить да хлеба кушати,
Хлеба кушати да пообедати.
А и тут старыя казак да Илья Муромец
Становил коня да посередь двора,
Сам идёт он во палаты белокаменны.
Проходил он во столовую во горенку,
На пяту он дверь-то поразмахивал.
Крест-от клал он по-писаному,
Вёл поклоны по-учёному,
На все на три, на четыре на сторонки низко кланялся,
Самому князю Владимиру в особину,
Ещё всем его князьям он подколенныим.
Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать:
– Ты скажи-тко, ты откулешний, дородный добрый молодец,
Тебя как-то, молодца, да именем зовут,
Величают, удалого, по отечеству?
Говорил-то старыя казак да Илья Муромец:
– Есть я с славного из города из Мурома,
Из того села да Карачарова,
Есть я старыя казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович.
Говорит ему Владимир таковы слова:
– Ай же старыя казак да Илья Муромец!

Да й давно ли ты повыехал из Мурома
И которою дороженькой ты ехал в стольный Киев-град?
Говорил Илья он таковы слова:
– Ай ты славныя Владимир стольно-киевский!
Я стоял заутреню христосскую во Муроме,
А и к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град,
То моя дорожка призамешкалась.
А я ехал-то дорожкой прямоезжею,
Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град,
Ехал мимо эту Грязь да мимо Чёрную,
Мимо славну реченьку Смородину,
Мимо славную берёзу ту покляпую,
Мимо славный ехал Леванидов крест.
Говорил ему Владимир таковы слова:
– Ай же мужичища-деревенщина,
Во глазах, мужик, да подлыгаешься,
Во глазах, мужик, да насмехаешься!
Как у славного у города Чернигова
Нагнано тут силы много множество –
То пехотою никто да не прохаживал
И на добром коне никто да не проезживал,
Туда серый зверь да не прорыскивал,
Птица чёрный ворон не пролётывал.
А и у той ли то у Грязи-то у Чёрноей,
Да у славноей у речки у Смородины,
А и у той ли у берёзы у покляпыя,
У того креста у Леванидова
Соловей сидит Разбойник Одихмантьев сын.
То как свищет Соловей да по-соловьему,
Как кричит злодей-разбойник по-звериному –
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазоревы цветочки прочь осыпаются,
Тёмны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей – то все мертвы лежат.
Говорил ему Илья да таковы слова:
– Ты, Владимир-князь да стольно-киевский!
Соловей Разбойник на твоём дворе.
Ему выбито ведь право око со косицею,
И он ко стремени булатному прикованный.
То Владимир-князь-от стольно-киевский
Он скорёшенько вставал да на резвы ножки,
Кунью шубоньку накинул на одно плечко,
То он шапочку соболью на одно ушко,
Он выходит-то на свой-то на широкий двор

Посмотреть на Соловья Разбойника.
Говорил-то ведь Владимир-князь да таковы слова:
– Засвищи-тко, Соловей, ты по-соловьему,
Закричи-тко ты, собака, по-звериному.
Говорил-то Соловей ему Разбойник Одихмантьев сын:
– Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послушати.
Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати.
Говорил-то как Владимир-князь да стольно-киевский.
– Ай же старыя казак ты Илья Муромец!
Прикажи-тко засвистать ты Соловья да и по-соловьему,
Прикажи-тко закричать да по-звериному.
Говорил Илья да таковы слова:
– Ай же Соловей Разбойник Одихмантьев сын!
Засвищи-тко ты во полсвиста соловьего,
Закричи-тко ты во полкрика звериного.
Говорил-то ему Соловой Разбойник Одихмантьев сын:
– Ай же старыя казак ты Илья Муромец!
Мои раночки кровавы запечатались,
Да не ходят-то мои уста сахарные,
Не могу я засвистать да и по-соловьему,
Закричать-то не могу я по-звериному.
А и вели-тко князю ты Владимиру
Налить чару мне да зелена вина.
Я повыпью-то как чару зелена вина –
Мои раночки кровавы поразойдутся,
Да и уста мои сахарны порасходятся,
Да тогда я засвищу да по-соловьему,
Да тогда я закричу да по-звериному.
Говорил Илья тут князю он Владимиру:
– Ты, Владимир-князь да стольно-киевский,
Ты поди в свою столовую во горенку,
Наливай-то чару зелена вина.
Ты не малую стопу – да полтора ведра,
Подноси-тко к Соловью к Разбойнику. –
То Владимир-князь да стольно-киевский,
Он скоренько шёл в столову свою горенку,
Наливал он чару зелена вина,
Да не малу он стопу – да полтора ведра,
Разводил медами он стоялыми,
Приносил-то он ко Соловью Разбойнику.
Соловей Разбойник Одихмантьев сын
Принял чарочку от князя он одной ручкой,

Выпил чарочку ту Соловей одним духом.
Засвистал как Соловей тут по-соловьему,
Закричал Разбойник по-звериному –
Маковки на теремах покривились,
А околенки во теремах рассыпались.
От него, от посвиста соловьего,
А что есть-то людушек – так все мертвы лежат,
А Владимир-князь-от стольно-киевский
Куньей шубонькой он укрывается.
А и тут старый-от казак да Илья Муромец,
Он скорёшенько садился на добра коня,
А и он вёз-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
Говорил Илья да таковы слова:
– Тебе полно-тко свистать да по-соловьему,
Тебе полно-тко кричать да по-звериному,
Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей,
Тебе полно-тко вдовить да жён молодых,
Тебе полно-тко спущать-то сиротать да малых детушек!

Садко (былина)

В славном в Нове-граде
Как был Садко-купец, богатый гость.
А прежде у Садка имущества не было:
Одни были гусельки яровчаты;
По пирам ходил-играл Садко.

Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир
И третий не зовут на почестен пир,
По том Садко соскучился.
Как пошёл Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Тут-то Садко перепался,
Пошёл прочь от озера во свой во Новгород.

Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир
И третий не зовут на почестен пир,
По том Садко соскучился.

Как пошёл Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Тут-то Садко перепался,
Пошёл прочь от озера во свой во Новгород.

Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир
И третий не зовут на почестен пир,
По том Садко соскучился.
Как пошёл Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Показался царь морской,
Вышел со Ильмени со озера,

Сам говорил таковы слова:
– Ай же ты, Садко новгородский!
Не знаю, чем буде тебя пожаловать
За твои за утехи за великие,
За твою-то игру нежную:
Аль бессчётной золотой казной?
А не то ступай во Новгород
И ударь о велик заклад,
Заложи свою буйну голову
И выряжай с прочих купцов
Лавки товара красного
И спорь, что в Ильмень-озере
Есть рыба – золоты перья.

Как ударишь о велик заклад,
И поди свяжи шёлковой невод
И приезжай ловить в Ильмень-озеро:
Дам три рыбины – золота перья.
Тогда ты, Садко, счастлив будешь!
Пошёл Садко от Ильменя от озера,
Как приходил Садко во свой во Новгород,
Позвали Садка на почестен пир.

Как тут Садко новогородский
Стал играть в гусельки яровчаты;
Как тут стали Садка попаивать,

Стали Садку поднашивать,
Как тут-то Садко стал похвастывать:
– Ай же вы, купцы новогородские!
Как знаю чудо-чудное в Ильмень-озере:
А есть рыба – золоты перья в Ильмень-озере!

Как тут-то купцы новогородские
Говорят ему таковы слова:
– Не знаешь ты чуда-чудного,
Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья.

– Ай же вы, купцы новогородские!
О чём же бьёте со мной о велик заклад?
Ударим-ка о велик заклад:
Я заложу свою буйну голову,
А вы залагайте лавки товара красного.
Три купца повыкинулись,
Заложили по три лавки товара красного,
Как тут-то связали невод шёлковой
И поехали ловить в Ильмень-озеро.
Закинули тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли рыбку – золоты перья;

Закинули другую тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли другую рыбку – золоты перья;
Третью закинули тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли третью рыбку – золоты перья.
Тут купцы новогородские
Отдали по три лавки товара красного.

Стал Садко поторговывать,
Стал получать барыши великие.
Во своих палатах белокаменных
Устроил Садко всё по-небесному:
На небе солнце – и в палатах солнце,
На небе месяц – и в палатах месяц,
На небе звёзды – и в палатах звёзды.

Потом Садко-купец, богатый гость,
Зазвал к себе на почестен пир
Тыих мужиков новогородскиих
И тыих настоятелей новогородскиих:
Фому Назарьева и Луку Зиновьева.

Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Иной хвастает бессчётной золотой казной,
Другой хвастает силой-удачей молодецкою,
Который хвастает добрым конём,
Который хвастает славным отчеством.
Славным отчеством, молодым молодечеством,
Умный хвастает старым батюшком,
Безумный хвастает молодой женой.

Говорят настоятели новогородские:
– Все мы на пиру наедалися,
Все на почестном напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Что же у нас Садко ничем не похвастает?
Что у нас Садко ничем не похваляется?
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– А чем мне, Садку, хвастаться,
Чем мне, Садку, похвалятися?
У меня ль золота казна не тощится,
Цветно платьице не носится,
Дружина хоробра не изменяется.
А похвастать – не похвастать бессчётной золотой казной:
На свою бессчётну золоту казну
Повыкуплю товары новогородские,
Худые товары и добрые!

Не успел он слова вымолвить,
Как настоятели новогородскке
Ударили о велик заклад,
О бессчётной золотой казне,
О денежках тридцати тысячах:
Как повыкупить Садку товары новогородские,
Худые товары и добрые,
Чтоб в Нове-граде товаров в продаже боле не было.
Ставал Садко на другой день раным-рано,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счёта давал золотой казны
И распускал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шёл в гостиный ряд,
Как повыкупил товары новогородские,
Худые товары и добрые,
На свою бессчётну золоту казну.

На другой день ставал Садко раным-рано,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счёта давал золотой казны
И распускал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шёл в гостиный ряд:
Вдвойне товаров принавезено,
Вдвойне товаров принаполнено
На тую на славу на великую новогородскую.
Опять выкупал товары новогородские,
Худые товары и добрые,
На свою бессчётну золоту казну.

На третий день ставал Садко раным-рано,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счёта давал золотой казны
И распускал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шёл в гостиный ряд:
Втройне товаров принавезено,
Втройне товаров принаполнено,
Подоспели товары московские
На тую на великую на славу новогородскую.

Как тут Садко пораздумался:
«Не выкупить товара со всего бела света:
Ещё повыкуплю товары московские,
Подоспеют товары заморские.
Не я, видно, купец богат новогородский –
Побогаче меня славный Новгород».
Отдавал он настоятелям новогородскиим
Денежек он тридцать тысячей.

На свою бессчётну золоту казну
Построил Садко тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, тридцать черлёныих;
На те на корабли на черлёные
Свалил товары новогородские,
Поехал Садко по Волхову,
Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву-реку,
А со Невы-реки во сине море.
Как поехал он по синю морю,
Воротил он в Золоту Орду,
Продавал товары новогородские,

Получал барыши великие,
Насыпал бочки-сороковки красна золота, чиста серебра,
Поезжал назад во Новгород,
Поезжал он по синю морю.

На синем море сходилась погода сильная,
Застоялись черлёны корабли на синем море:
А волной-то бьёт, паруса рвёт,
Ломает кораблики черлёные;
А корабли нейдут с места на синем море.

Говорит Садко-купец, богатый гость,
Ко своей дружине ко хоробрые:
– Ай же ты, дружинушка хоробрая!
Как мы век по морю ездили,

А морскому царю дани не плачивали:
Видно, царь морской от нас дани требует,
Требует дани во сине море.
Ай же, братцы, дружина хоробрая!
Взимайте бочку-сороковку чиста серебра,
Спущайте бочку во сине море, –
Дружина его хоробрая
Взимала бочку чиста серебра,
Спускала бочку во сине море;
А волной-то бьёт, паруса рвёт,
Ломает кораблики черлёные,
А корабли нейдут с места на синем море.

Тут его дружина хоробрая
Брала бочку-сороковку красна золота,
Спускала бочку во сине море:
А волной-то бьёт, паруса рвёт,
Ломает кораблики черлёные,
А корабли всё нейдут с места на синем море.
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– Видно, царь морской требует
Живой головы во сине море.

Делайте, братцы, жеребья вольжаны,
Я сам сделаю на красноем на золоте,
Всяк свои имена подписывайте,
Спускайте жеребья на сине море:
Чей жеребий ко дну пойдёт,
Таковому идти в сине море.

Делали жеребья вольжаны,
А сам Садко делал на красноем на золоте,
Всяк своё имя подписывал,
Спускали жеребья на сине море.
Как у всей дружины хоробрые
Жеребья гоголем по воде плывут,
А у Садка-купца – ключом на дно.
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– Ай же братцы, дружина хоробрая!
Этыя жеребья неправильны:
Делайте жеребья на красноем на золоте,
А я сделаю жеребий вольжаный.
Делали жеребья на красноем на золоте,
А сам Садко делал жеребий вольжаный.
Всяк своё имя подписывал,
Спускали жеребья на сине море:
Как у всей дружины хоробрые
Жеребья гоголем по воде плывут,
А у Садка-купца – ключом на дно.
Говорит Садко-купец, богатый гость:
– Ай же братцы, дружина хоробрая!
Видно, царь морской требует
Самого Садка богатого в сине море.
Несите мою чернилицу вальяжную,
Перо лебединое, лист бумаги гербовый.

Несли ему чернилицу вальяжную,
Перо лебединое, лист бумаги гербовый,
Он стал именьице отписывать:
Кое именье отписывал божьим церквам,
Иное именье нищей братии,
Иное именьице молодой жене,
Остатное именье дружине хороброей.

Говорил Садко-купец, богатый гость:
– Ай же братцы, дружина хоробрая!
Давайте мне гусельки яровчаты,

Поиграть-то мне в остатнее:
Больше мне в гусельки не игрывати.
Али взять мне гусли с собой во сине море?

Взимает он гусельки яровчаты,
Сам говорит таковы слова:
– Свалите дощечку дубовую на воду:
Хоть я свалюсь на доску дубовую,
Не столь мне страшно принять смерть во синем море.
Свалили дощечку дубовую на воду,
Потом поезжали корабли по синю морю,
Полетели, как чёрные вороны.

Остался Садко на синем море.
Со тоя со страсти со великие
Заснул на дощечке на дубовоей.
Проснулся Садко во синем море,
Во синем море на самом дне,
Сквозь воду увидел пекучись красное солнышко,
Вечернюю зорю, зорю утреннюю.
Увидел Садко: во синем море
Стоит палата белокаменная.
Заходил Садко в палату белокаменну:
Сидит в палате царь морской,
Голова у царя как куча сенная.
Говорит царь таковы слова:
– Ай же ты, Садко-купец, богатый гость!
Век ты, Садко, по морю езживал,
Мне, царю, дани не плачивал,
А нонь весь пришёл ко мне во подарочках.
Скажут, мастер играть в гусельки яровчаты;

Поиграй же мне в гусельки яровчаты.
Как начал играть Садко в гусельки яровчаты,
Как начал плясать царь морской во синем море,
Как расплясался царь морской.
Играл Садко сутки, играл и другие
Да играл ещё Садко и третии –
А всё пляшет царь морской во синем море.
Во синем море вода всколыбалася,
Со жёлтым песком вода смутилася,
Стало разбивать много кораблей на синем море,
Стало много гибнуть именьицев,
Стало много тонуть людей праведныих.

Как стал народ молиться Миколе Можайскому,
Как тронуло Садка в плечо во правое:
– Ай же ты, Садко новогородский!
Полно играть в гуселышки яровчаты! –
Обернулся, глядит Садко новогородскиий:
Ажно стоит старик седатыий.
Говорил Садко новогородский:
– У меня воля не своя во синем море,
Приказано играть в гусельки яровчаты.

Говорит старик таковы слова:
– А ты струночки повырывай,
А ты шпенёчки повыломай,
Скажи: «У меня струночек не случилося,
А шпенёчков не пригодилося,
Не во что больше играть,
Приломалися гусельки яровчаты».
Скажет тебе царь морской:
«Не хочешь ли жениться во синем море
На душечке на красной девушке?»
Говори ему таковы слова:
«У меня воля не своя во синем море».
Опять скажет царь морской:
«Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько,
Выбирай себе девицу-красавицу».
Как станешь выбирать девицу-красавицу,
Так перво триста девиц пропусти,
А друго триста девиц пропусти,
И третье триста девиц пропусти;
Позади идёт девица-красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Бери тую Чернаву за себя замуж…
Будешь, Садко, во Нове-граде.
А на свою бессчётну золоту казну
Построй церковь соборную Миколе Можайскому.
Садко струночки во гусельках повыдернул,
Шпенёчки во яровчатых повыломал.
Говорит ему царь морской:
– Ай же ты, Садко новогородскиий!
Что же не играешь в гусельки яровчаты?
– У меня струночки во гусельках выдернулись,
А шпенёчки во яровчатых повыломались,
А струночек запасных не случилося,

А шпенёчков не пригодилося.

Говорит царь таковы слова:
– Не хочешь ли жениться во синем море
На душечке на красной девушке? –
Говорит ему Садко новогородскиий:
– У меня воля не своя во синем море. –
Опять говорит царь морской:
– Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько,
Выбирай себе девицу-красавицу.
Вставал Садко поутру ранёшенько,
Поглядит: идёт триста девушек красныих.
Он перво триста девиц пропустил,
И друго триста девиц пропустил,
И третье триста девиц пропустил;
Позади шла девица-красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Брал тую Чернаву за себя замуж.

Как прошёл у них столованье почестен пир
Как ложился спать Садко во перву ночь,
Как проснулся Садко во Нове-граде,
О реку Чернаву на крутом кряжу,
Как поглядит – ажно бегут
Его черлёные корабли по Волхову
Поминает жена Садка со дружиной во синем море:
– Не бывать Садку со синя моря! –
А дружина поминает одного Садка:
– Остался Садко во синем море!

А Садко стоит на крутом кряжу,
Встречает свою дружинушку со Волхова
Тут его дружина сдивовалася:
– Остался Садко во синем море!
Очутился впереди нас во Нове-граде,
Встречает дружину со Волхова!
Встретил Садко дружину хоробрую
И повёл во палаты белокаменны.
Тут его жена зрадовалася,
Брала Садка за белы руки,
Целовала во уста во сахарные.

Начал Садко выгружать со черлёных со кораблей
Именьице – бессчётну золоту казну.

Как повыгрузил со черлёных кораблей,
Состроил церкву соборную Миколе Можайскому.

Не стал больше ездить Садко на сине море,
Стал поживать Садко во Нове-граде.

Морозко
(русская народная сказка в обработке А. Н. Толстого)

Живало-бывало, – жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка.

Все знают, как за мачехой жить: перевернёшься – бита и недовернёшься – бита. А родная дочь что ни сделает – за всё гладят по головке: умница.

Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела – ещё до свету… Ничем старухе не угодишь – всё не так, всё худо.

Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится – не скоро уймётся. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить.

– Вези, вези её, старик, – говорит мужу, – куда хочешь, чтобы мои глаза её не видали! Вези её в лес, на трескучий мороз.

Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь:

– Садись мила дочь, в сани.

Повёз бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал.

Девушка сидит под елью, дрожит, озноб её пробирает. Вдруг слышит – невдалеке Морозко по ёлкам потрескивает, с ёлки на ёлку поскакивает, пощёлкивает. Очутился на той ели, под которой девица сидит, и сверху её спрашивает:

– Тепло ли тебе, девица?

– Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.

Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощёлкивает:

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Она чуть дух переводит:

– Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.

Морозко ещё ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защёлкал:

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?

Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит:

– Ой, тепло, голубчик Морозушко!

Тут Морозко сжалился над девицей, окутал её тёплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами.

А мачеха по ней уж поминки справляет, печёт блины и кричит мужу:

– Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить!

Поехал старик в лес, доезжает до того места, – под большою елью сидит его дочь, весёлая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около – короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил всё добро в сани, посадил дочь, повёз домой.

А дома старуха печёт блины, а собачка под столом:

– Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут.

Старуха бросит ей блин:

– Не так тявкаешь! Говори: «Старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут…»

Собака съест блин и опять:

– Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут.

Старуха блины ей кидала и била её, собачка – всё своё…

Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идёт падчерица – в злате-серебре, так и сияет. А за ней несут короб высокий, тяжёлый. Старуха глянула – и руки врозь…

– Запрягай, старый хрыч, другую лошадь! Вези, вези мою дочь в лес да посади на то же место…

Старик посадил старухину дочь в сани, повёз её в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал.

Старухина дочь сидит, зубами стучит.

А Морозко по лесу потрескивает, с ёлки на ёлку поскакивает, пощёлкивает, на старухину дочь поглядывает:

– Тепло ли тебе, девица?

А она ему:

– Ой, студёно! Не скрипи, не трещи, Морозко…

Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощёлкивать.

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?

– Ой, руки, ноги отмёрзли! Уйди, Морозко…

Ещё ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затрещал, защёлкал:

– Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?

– Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко!

Рассердился Морозко да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа:

– Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези её в злате-серебре…

Старик уехал. А собачка под столом:

– Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут.

Старуха кинула ей пирог:

– Не так тявкаешь! Скажи: «Старухину дочь в злате-серебре везут…»

А собачка – всё своё:

– Тяф, тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут…

Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мёртвая.

Заголосила старуха, да поздно.

Финист – ясный сокол (русская народная сказка)

Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу – в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:

– Не надо, батюшка, нанимать работницу, сама я буду хозяйство вести.

Ладно. Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Всё-то она умеет, всё-то у неё ладится. Любил отец Марьюшку: рад был, что такая умная да работящая дочка растёт. Из себя-то Марьюшка красавица писаная. А сёстры её завидущие да жаднющие; из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы – весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются, платье им – не платье, сапожки – не сапожки, платок – не платок.

Поехал отец на базар и спрашивает дочек:

– Что вам, дочки купить, чем порадовать?

И говорят старшая и средняя дочки:

– Купи по полушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные.

А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает её отец:

– А что тебе, доченька, купить?

– Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста – ясна сокола. Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а пёрышка не нашёл.

Поехал отец в другой раз на базар.

– Ну, – говорит, – дочки, заказывайте подарки.

Обрадовались старшая и средняя дочки:

– Купи нам по сапожкам с серебряными подковками.

А Марьюшка опять заказывает:

– Купи мне, батюшка, пёрышко Финиста – ясна сокола.

Ходил отец весь день, сапожки купил, а пёрышка не нашёл. Приехал без пёрышка.

Ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшая и средняя дочки говорят:

– Купи нам по платью.

А Марьюшка опять просит:

– Батюшка, купи пёрышко Финиста – ясна сокола.

Ходил отец весь день, а пёрышка не нашёл. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.

– Здорово, дедушка!

– Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?

– К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня: меньшая дочка наказывала купить пёрышко Финиста – ясна сокола, а я не нашёл.

– Есть у меня такое пёрышко, да оно заветное; но для доброго человека, куда ни шло, отдам.

Вынул дедушка пёрышко и подаёт, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает: «Что в нём Марьюшка нашла хорошего!»

Привёз старик подарки дочкам; старшая и средняя наряжаются да над Марьюшкой смеются:

– Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи своё пёрышко в волоса да красуйся!

Промолчала Марьюшка, отошла в сторону; а когда все спать полегли, бросила Марьюшка пёрышко на пол и проговорила:

– Любезный Финист – ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених!

И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу.

Три дня Марьюшка привечала к себе молодца; днём он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем.

На четвёртый день сёстры злые заметили – наговорили отцу на сестру.

– Милые дочки, – говорит отец, – смотрите лучше за собой.

«Ладно, – думают сёстры, – посмотрим, как будет дальше».

Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят.

Вот летит ясный сокол. Долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился-бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:

– Кому я нужен, тот меня найдёт. Но это будет нелегко. Тогда меня найдёшь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвёшь.

Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами – смыла слёзками кровавый след и стала ещё краше.

Пошла она к отцу и проговорила:

– Не брани меня, батюшка, отпусти в путь-дорогу дальнюю. Жива буду – свидимся, умру – так, знать, на роду написано.

Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил.

Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь-дорогу дальнюю, искать желанного Финиста – ясна сокола. Шла она чистым полем, шла тёмным лесом, высокими горами. Птички весёлыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса тёмные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть: волки серые, медведи, лисицы – все звери к ней сбегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала.

И вот выходит Марьюшка на поляну и видит: стоит избушка на курьих ножках – вертится. Говорит Марьюшка:

– Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.

Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос.

Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:

– Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.

– О красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за тридевять земель, в тридевятом государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придёшь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу – бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать – не продавай. Просись Финиста – ясна сокола повидать.

Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал:

– Не бойся, Марьюшка, иди вперёд. Будет ещё страшнее, а ты

иди и иди, не оглядывайся.

Потёрся кот спинкой и был таков, а Марьюшка пошла дальше. А лес стал ещё темней. Шла, шла Марьюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнём горит.

Говорит Марьюшка:

– Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.

Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос.

Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:

– Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.

– А у моей сестры была?

– Была, бабушка.

– Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать – не продавай. Просись Финиста – ясна сокола повидать.

Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марьюшке. Глядь, собака бежит:

– Ав, ав, Марьюшка, не бойся, родная, иди! Будет ещё страшнее, не оглядывайся.

Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал ещё темнее. За ноги её цепляет, за рукава хватает… Идёт Марьюшка, идёт и назад не оглянется.

Долго ли, коротко ли шла – башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа; каждый череп огнём горит.

Говорит Марьюшка:

– Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом.

Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит баба-яга – костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама чёрная, а во рту один клык торчит.

Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:

– Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?

– Ищу, бабушка, Финиста – ясна сокола.

– Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретёнце. Бери в руки, само прясть будет, потянется нитка не простая, а золотая.

– Спасибо тебе, бабушка.

– Ладно, спасибо после скажешь, а теперь слушай, что тебе накажу: будут золотое веретёнце покупать – не продавай, а просись Финиста – ясна сокола повидать.

Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла, а лес зашумел, загудел; поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли – да все на Марьюшку. И видит Марьюшка – бежит навстречу серый волк.

– Не горюй, – говорит он, – а садись на меня и не оглядывайся.

Села Марьюшка на серого волка, и только её и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит.

– Ну, – говорит волк, – слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуги.

Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марьюшка царице и говорит:

– Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница?

Отвечает царица:

– Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.

– Всё это я могу делать.

– Тогда проходи и садись за работу.

И стала Марьюшка работницей. День работает, а наступит ночь – возьмёт Марьюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:

– Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого.

Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист – ясный сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается:

– Финист мой, Финист – ясный сокол, зачем ты меня оставил одну, горькую, о тебе плакать!

Подслушала царица её слова и говорит:

– Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко.

– Нет, – говорит Марьюшка, – они непродажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на Финиста – ясна сокола поглядеть.

Подумала царица, подумала.

– Ладно, – говорит, – так и быть. Ночью, как он уснёт, я тебе его покажу.

Наступила ночь, и идёт Марьюшка в спальню к Финисту – ясну соколу. Видит она – спит её сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка – не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белой, – спит, не пробудится сердечный друг.

Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого…

Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит вышивает, сама приговаривает:

– Вышивайся, вышивайся, узор, для Финиста – ясна сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться.

Подслушала царица и говорит:

– Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку.

– Я не продам, – говорит Марьюшка, – а так отдам, разреши только с Финистом – ясным соколом свидеться.

Подумала та, подумала.

– Ладно, – говорит, – так и быть, приходи ночью.

Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту – ясну соколу, а тот спит сном непробудным.

– Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!

Спит Финист – ясный сокол крепким сном. Будила его Марьюшка – не добудилась.

Наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берёт в руки серебряное донце, золотое веретёнце. А царица увидала:

– Продай да продай!

– Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с Финистом – ясным соколом хоть часок побыть.

– Ладно, – говорит та.

А сама думает: «Всё равно не разбудит».

Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту – ясну соколу, а тот спит сном непробудным.

– Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!

Спит Финист, не просыпается.

Будила, будила – никак не может добудиться, а рассвет близко. Заплакала Марьюшка:

– Любезный ты мой Финист – ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему её прижми!

Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста – ясна сокола и обожгла. Очнулся Финист – ясный сокол, осмотрелся и

видит Марьюшку. Обнял её, поцеловал:

– Неужели это ты, Марьюшка! Трое башмаков железных износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину.

Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить.

Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста – ясна сокола наказать.

Тогда Финист – ясный сокол говорит:

– Которая, по-вашему, настоящая жена: та ли, что крепко любит, или та, что продаёт да обманывает?

Согласились все, что жена Финиста – ясна сокола – Марьюшка.

И стали они жить-поживать да добра наживать. Поехали в своё государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.

Произведения писателей XIX–XX веков

Гаршин В. М.
Сказка о жабе и розе

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде четырёхгранных пик, когда-то выкрашенная зелёной масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться её тёмною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в её тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и

мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собой книжку. – Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? – спрашивает из окна сестра. – Может быть, ты с ним побегаешь?

– Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам – травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от

радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи. – Вася, милый, иди домой, сыро становится, – громко сказала сестра.

И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверёк ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

– Маша! – вдруг шепчет он сестре.

– Что, милый?

– Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щёку и при этом незаметно стирает слезинку.

– Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

– Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребёнка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Её заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов: – Постой, – прохрипела она, – я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда – не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших её своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

– Я тебя слопаю! – повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе.

– Я тебя слопаю! – повторила она, всё глядя на цветок.

И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

– Господи! – молилась она, – хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зелёная гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок…

– Я сказала, что я тебя слопаю! – повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин

неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от жёлтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это была и правда. Она не видела, как её враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх – и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение: – Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает…

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала развёрнутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

– Маша, – вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

– Что милый?

– Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне… одну?

– Можно, голубчик, можно! – Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

– Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане? Да?

– Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

– Ах, какая гадость! – вскрикнула она.

И схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и шлёпнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как девушка

осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

– Дай её мне, – прошептал он. – Я понюхаю.

Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

– Ах, как хорошо…

Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал… навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького гробика.

Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

Житков Б. С.
Как я ловил человечков

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме – медное рулевое колесо. Снизу под кормой – руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне всё позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

– Вот это уж не проси. Не то играть – трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать, – не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать.

А бабушка:

– Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше

спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

– Честное-расчестное, бабушка. – И схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, подглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты. А чуть шум – как мыши: юрк в каюту. Вниз – и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я спрятался за дверь и глядел в щелку. А они хитрые, человечки проклятые, знают, что я подглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые. Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

– Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут в этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела. Бабушка:

– Чего ты всё ворочаешься?

– А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. – Это я наврал: дома ночью темно наглухо.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел пароходик на полке. Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился – шорох этот на пароходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка! Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в ихние дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щелочку. Ух ты! Конфетища! Для них это – как ящик целый.

Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики – маленькие-маленькие, но совсем всамделишные – и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей пропирать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вертко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет – ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на пароходике на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький. И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, пока бабушка в кухне возилась, раз-два – на стол ногами, и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днём я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик! Леденец как был – на месте. Ну да! Дураки они днём браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонёк и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул – леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел – топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось – всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них в пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядком и тихонько шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у

них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками.

Я не мог больше терпеть.

И вот – я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой таскала, во все гости. Всё к каким-то старухам. Сиди – и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу – бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух – чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натёр себе и лоб и щёки – всю морду, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

– Боря, Борюшка, где ж ты? – Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

– Что это ты лёг?

– Голова болит.

Она тронула лоб.

– Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду – малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору.

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был, в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил ихний пароход. Ага! Сидите там на лавочке и примолкли, как мыши.

Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтоб не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано. Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные

лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать – иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу дать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его – хлоп! – и захлопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове – схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу и туда в серёдку рукой – прихлопнуть. Хоть один да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились – откроешь, а человечки прыск все в стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутрь рукой. Ничего. Совсем, совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. И под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилась. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало. Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой. Слышу ключ в дверях.

– Бабушка! – под одеялом шептал я. – Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

– Да чего ты ревёшь, да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала пароходика.

Куприн А. И.
Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Всё описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь. Я с своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросёнок-то… Смеётся… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но

невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещённые ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копчёные и маринованные рыбы; ниже, окружённые гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала… Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дёрнул брата за рукав и произнёс сурово:

– Ну, Володя, идём, идём… Нечего тут…

Одновременно подавив тяжёлый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюблённо-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели ёлку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки весёлой польки… Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, всё малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, весёлый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам – всё осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещённые косогоры… Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили её.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба

мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрёпкам, сушившимся на протянутой через комнату верёвке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлёбываясь, грудной ребёнок. Высокая, худая женщина, с измождённым, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, – женщина обернула назад своё встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да всё, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда… Сволочи вы…»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал… Кто же ещё? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время ваши письма читать…»

– Ну, а ты?

– Я ему всё, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего… Матушка больна… Помирает…» Говорю: «Как папа место найдёт, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к чёрту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то…

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовой крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался… Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем…

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряжённого ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошёл Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щёки облипли вокруг дёсен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим…. Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она подённо стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов… Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег… Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрёпанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Всё равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду ещё… Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочёл ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось всё время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить своё страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчётливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шёл по аллее. Сначала был виден огонёк то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть

старика небольшого роста, в тёплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно… тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свёртков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я… а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел… Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлоблённых криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся. Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:

– Подождите… не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только всё пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущённой души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошёл к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить всё, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом… Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку… давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание… Продолжайте согревающий компресс… Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, всё ещё не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов

закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнёс:

– Э! Вот ещё пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё переменилось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счёт. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мёртвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.

Одоевский В. Ф.
Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», – сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые

лучи расходятся по всему небу.

– Что это за городок? – спросил Миша.

– Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку…

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

– Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

– Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…

– Право, мой друг, там и без тебя тесно.

– Да кто же там живёт?

– Кто там живёт? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки и валик, и колёса… Миша удивился: «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» – спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом

городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

– Извольте, с величайшею радостью!

С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?

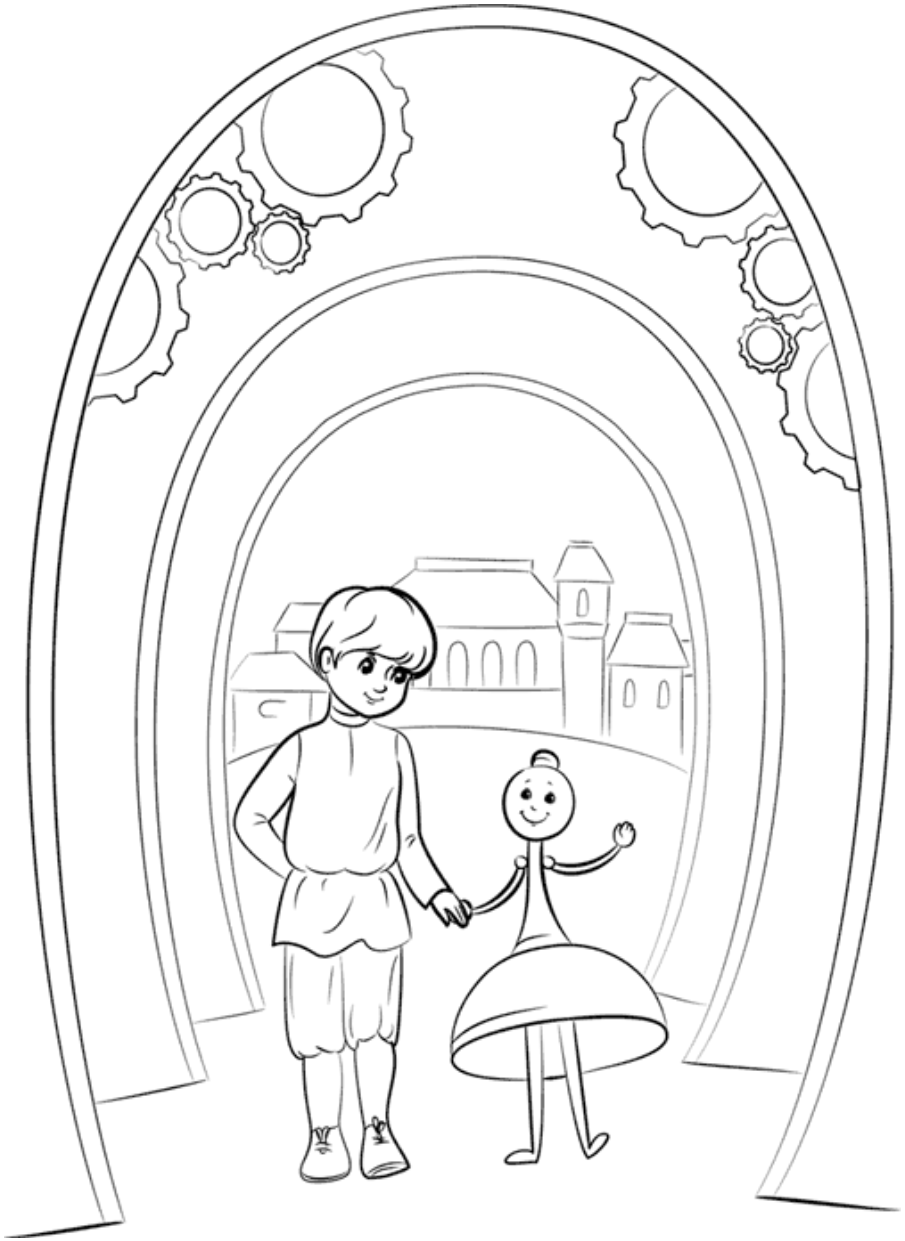
– Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды – чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

– Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал ему Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, – там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

– Динь-динь-динь! – отвечал мальчик. – Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.



– Отчего это? – спросил он своего проводника.

– Динь-динь-динь! – отвечал проводник, смеясь. – Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь – большое.

– Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого

мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

– Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

– Уж у нас поговорка такая, – отвечал мальчик-колокольчик.

– Поговорка? – заметил Миша. – А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова.

Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.

– Нет, теперь уж меня не обманут, – сказал Миша. – Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

– Ан вот и неправда, – отвечал провожатый, – колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

– Весело вы живёте, – сказал им Миша, – век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.

– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы – ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

– Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – всё не мило. Я долго не понимал; отчего это, а теперь понимаю.

– Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

– Какие же дядьки? – спросил Миша.

– Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

– Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

– Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.

– А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша – к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:

– Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!

– Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша…

– А что тебе надобно? – спросил надзиратель.

– Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…

– А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…

– Ну, многому же я научился в этом городке! – сказал про себя Миша. – Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! – думаю я. – Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошёл далее – и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

– Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком – и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на

сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.

– Что во сне видел, Миша? – спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

– Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша. – Так это был сон?

– Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере что тебе приснилось!

– Да видите, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, – мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

– Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.

Станюкович К. М.
Максимка (отрывок)

I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подёрнутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далёкого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашёптывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.

Бережно, словно заботливый нежный пестун, несёт он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснёт на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет чёрную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе тёмный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесётся над водой маленькая серая петрель, направляясь к далёким берегам Африки или Америки, и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идёт к югу, удаляясь всё дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и всё-таки близкого и дорогого севера.

Небольшой, весь чёрный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытый парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи – восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазною пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идёт обычная утренняя чистка и уборка клипера – подготовка к подъёму флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь – словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью, какою отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где всё, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки» выпаливал какую-нибудь

уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трёх слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.

Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырёх до восьми часов, уже давно разогнал дрёму первого получаса вахты. Весь в белом, с расстёгнутою ночной сорочкой, он ходит взад и вперёд по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, ещё не накалённый жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас – по румбу ли правят рулевые, или на паруса – хорошо ли они стоят, или на горизонт – нет ли где шквалистого облачка.

Но всё хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.

И он снова ходит взад и вперёд и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булками, которые так мастерски печёт офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольёт в себя.

II

Вдруг по палубе пронёсся неестественно громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперёд:

– Человек в море!

Матросы кинули мгновенно работы, и, удивлённые и взволнованные, бросились на бак, и устремили глаза на океан.

– Где он, где? – спрашивали со всех сторон часового,

молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.

– Вон, – указывал дрогнувшей рукой матрос. – Теперь скрылся. А сейчас видел, братцы… На мачте держался… привязан, что ли, – возбуждённо говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.

– Видишь? – спросил молодой лейтенант.

– Вижу, ваше благородие… Левее извольте взять…

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых лёгких:

– Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбуждённо прибавил:

– Не теряй из глаз человека!

– Пошёл все наверх! – рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кители, поднимались по трапу на палубу.

– Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Всё в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трёх, были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

– С богом! – крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.

Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было в бинокль.

По компасу заметили всё-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою

ничтожною скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькой чёрной точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:

– Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.

– Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.

– Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью…

– А то и сгорел.

– И всего-то один человек остался, братцы!

– Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли…

– Живой ли он?

– Вода тёплая. Может, и живой.

– И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!

– Дд-да, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! – произнёс, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И с омрачённым грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:

– Баркас пошёл назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

– Есть на нём спасённый?

– Не видать, ваше благородие! – уже не так весело отвечал сигнальщик.

– Видно, не нашли! – проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щёки и подбородок густою чёрною заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, – недовольно вздёрнул плечом и, видимо

сдерживая раздражение, проговорил:

– Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашёл человека-с.

– Но его не видно на баркасе.

– Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с… А впрочем-с, скоро узнаем…

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасённого, но по спокойно-весёлому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасённый на баркасе. И на сердитом лице капитана засветилась улыбка.

Ещё несколько минут, и баркас подошёл к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасённый – маленький негр, лет десяти – одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощённого, чёрного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

– Совсем полумёртвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, – докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе.

– Скорее его в лазарет! – приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шёл прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.

– Арапчонка спасли! – раздавались со всех сторон весёлые матросские голоса.

– И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

– Доктор отхаживает. Небось, выходит!

Через час марсовой Коршунов принёс известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа…

– Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил; вовсе, значит, пустой, безо всего, – так, отвар быдто, – с оживлением

продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному врал ю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врёт, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

– Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол, этого самого супу»… И хотел даже вырвать у доктора чашку… Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя… Помрёт, мол.

– Что ж арапчонок?

– Ничего, покорился…

В эту минуту к кадке с водой подошёл капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:

– А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

– Куда деть? Оставят на Надёжном мысу, когда, значит, придём туда.

«Надёжным мысом» он называл мыс Доброй Надежды. И, помолчав, не без пренебрежения прибавил:

– Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

– Дикие не дикие, а всё божья тварь… Пожалеть надо! – промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

– А как же арапчонок оттель к своему месту вернётся? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! – заметил кто-то.

– На Надёжном мысу всяких арапов много. Небось, дознаются, откуда он, – ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.

– Тоже вестовщина. Полагает о себе! – сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею

широкою улыбкою, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими чёрными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.

– Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! – смеясь проговорил доктор. – Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! – прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал, если не всё, о чём спрашивал мичман, то во всяком случае кое-что, и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», – вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем», и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шёл из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошёл ко дну… Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провёл на ней почти двое суток…

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его

удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и – главное – его покрытая рубцами, блестящая чёрная худая спина с выдающимися ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, ещё большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день, под вечер, молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин – или, как все его звали, Артюшка, – передавал на баке рассказ мичмана, причём не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец капитан.

– Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плётку, – а плётка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки, – и давай лупцевать арапчонка! – говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде. – Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра… У бедняги и посейчас вся спина исполосована… Доктор сказывал: страсть поглядеть! – добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как ещё в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уже не сожрали акулы.

– Небось, у нас уж объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? – спросил какой-то пожилой матрос.

– То-то, есть!

– Чудно что-то… Вольный народ, а поди ж ты! – протянул пожилой матрос.

– У их арапы быдто вроде крепостных! – объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. – Из-за этого самого у их промеж себя и война идёт. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны – это те, которые имеют крепостных арапов, – ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто

разделают помещиков мериканских! – не без удовольствия прибавил Артюшка.

– Не бойсь, господь им поможет… И арапу на воле жить хочется… И птица клетки не любит, а человек и подавно! – вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», с напряжённым вниманием слушал разговор и, наконец, спросил:

– Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

– А ты думал как? Известно, вольный! – решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчёт прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Чёрта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошёл, так какой тут разговор!

И он прибавил:

– Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надёжном мысу. Получи пачпорт, и айда на все четыре стороны.

Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.

– То-то и есть! – радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок.

И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропическою ночью. Небо зажглось мириадами звёзд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.

А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об арапчонке.

V

Через два дня доктор, по обыкновению, пришёл в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашёл, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше

знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нём в виде длинного мешка, но весёлый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде чёрненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дёргает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро её снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

– No, no, no…

И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.

– Во что бы одеть его, Филиппов? – озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати. – Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали…

– Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнём, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие, – заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее, или, как матросы говорили, позанозистее.

– То есть как «обоюдно»? – улыбнулся доктор.

– Да так-с… обоюдно… Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! – обиженно проговорил фельдшер. – Удобно и хорошо, значит.

– Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

– Очень даже возможно хороший костюм сшить… На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

– Так устраивай свой обоюдный костюм.

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

– Кто там? Входи! – крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамлённое русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспалёнными живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая,

довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.

Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег.

Случалось, он на берегу пропивал всё своё платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

– Это я, вашескобродие, – проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмолённой шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

– Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?

– Никак нет, вашескобродие, – я вот платье арапчонку принёс… Думаю: голый, так сшил и мерку ещё раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

– Отдавай, братец… Очень рад, – говорил доктор, несколько изумлённый. – Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нём…

– Способное время было, вашескобродие, – как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

– Получай, Максимка! Одёжа самая, братец ты мой, вери гут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит… Вали, Максимка!

– Отчего ты его Максимкой зовёшь? – рассмеялся доктор.

– А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка… Опять же имени у арапчонка нет, надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел своё изделие со всех сторон, обдёргал и пригладил рубаху и нашёл, что платье во всём аккурате.

– Ну, теперь валим наверх, Максимка… Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и

матрос, взяв за руку негра, повёл его на бак и, показывая матросам, проговорил:

– Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола-мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

– Ужо, брат, и шапку справим… И башмачки будут, дай срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

Чехов А. П.
Каштанка (отрывок)

1. Дурное поведение

Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам.

Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчёт: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что её хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завёрнутую в красный платок, и крикнул:

– Каштанка, пойдём!

Услыхав своё имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что её взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял её из виду, останавливался и сердито кричал на неё. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак её лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

– Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашёл на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошёл он к знакомому переплётчику, от переплётчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идём и на фонарики глядим, а как помрём – в геенне огненной гореть будем…

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

– Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра…

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на неё шёл полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому её удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятернёй сделал под козырёк. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка ещё громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперёд, потом назад, ещё раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился… Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошёл в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперёд и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шёл крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая её ногами, безостановочно взад и вперёд проходили незнакомые заказчики. (Всё человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить её, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на неё никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило её, уши и лапы её озябли, и к тому же ещё она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплётчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу – вот и всё. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

2. Таинственный незнакомец

Но она ни о чём не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил её спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжёлую дремоту, вдруг подъездная дверь щёлкнула, запищала и ударила её по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на неё внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная… Ну, не сердись, не сердись… Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с её спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный пёсик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца тёплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила ещё жалостнее.

– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдём со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь… Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдём!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки… Сначала он дал ей хлеба и зелёную корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи всё это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее

чувствовался голод.

– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжёванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости…

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всём теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока её новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань… У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он даёт много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил её, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «Пошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

– Эй ты, пёс, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком… Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею… Он вытаскивал её за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у неё зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял её ходить на задних лапах, изображал из неё колокол, то есть сильно дергал её за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку… Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из её желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью… Она стала засыпать. В её воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела

сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу…

3. Новое, очень приятное знакомство

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была ещё одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала её обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

– Рррр… – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то ещё одна дверь, тоже затворённая. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на неё грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту… Кот ещё сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошёл сзади и больно долбанул её клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся…

– Это что такое? – послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошёл незнакомец в халате и с сигарой в зубах. – Что это значит? На место!

Он подошёл к коту, щёлкнул его по выгнутой спине и сказал:

– Фёдор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты,

старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

– Иван Иваныч, на место!

Кот покорно лёг на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чём-то быстро, горячо и отчётливо, но крайне непонятно.

– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты, рыжик, не бойся… Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

– Вот что… Ты будешь – Тётка… Понимаешь? Тётка!

И, повторив несколько раз слово «Тётка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чём-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью… Послушав его и ответив ему: «рррр…», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела мочёный горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил ещё горячее и, чтобы показать своё доверие, сам подошёл к корытцу и съел несколько горошинок.

4. Чудеса в решете

Немного погодя опять вошёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись верёвочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

– Иван Иваныч, пожалуйте!

Гусь подошёл к нему и остановился в ожидательной позе.

– Ну-с, – сказал незнакомец, – начнём с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и

шаркнул лапкой.

– Так, молодец… Теперь умри!

Гусь лёг на спину и задрал вверх лапы. Проделав ещё несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своём лице ужас и закричал:

– Караул! Пожар! Горим!

Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв верёвку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

– Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаёшь в нём воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

– Тётка, на место! – крикнул ей незнакомец. – Молчать! Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причём гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

– Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье… Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила чёрную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чём-то заговорила с гусем, в её движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

– Фёдор Тимофеич, пожалуйте!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошёл к свинье.

– Ну-с, начнём с египетской пирамиды, – начал хозяин. Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз… два… три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи… Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Фёдор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош своё искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Фёдор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошёл для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Фёдора Тимофеича и гуся.

5. Талант! Талант!

Прошёл месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что её каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Тёткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тётке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чём-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умён, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не даёт никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»…

Фёдор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как

видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире: гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Фёдор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тётка ложилась на матрасик и начинала грустить… Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потёмки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении её появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тётка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила… А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил её и сказал:

– Пора нам, Тётка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить её разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапках, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над её головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Фёдора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеиче доставляли ей величайшее

наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

– Талант! Талант! – говорил он. – Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тётка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было её кличкой.

Поэзия XIX–XX веков

Бальмонт К. Д.
Как я пишу стихи

Рождается внезапная строка,
За ней встаёт немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвёртая смеётся, набегая.
И пятая, и после, и потом,
Откуда, сколько, я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда – не сочиняю.

Баратынский Е. А.
Чудный град порой сольётся

Чудный град порой сольётся
Из летучих облаков,
Но лишь ветр его коснётся,
Он исчезнет без следов.
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

Баратынский Е. А.
Весна, весна! как воздух чист!

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!

Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!

Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьём она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует её
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нём
Забвенье мысли пьёт,
Кого далёко от неё
Он, дивный, унесёт!

Брюсов В. Я.
Опять сон

Мне опять приснились дебри,
Глушь пустынь, заката тишь.
Жёлтый лев крадётся к зебре
Через травы и камыш.

Предо мной стволы упрямо
В небо ветви вознесли.
Слышу шаг гиппопотама,
Заросль мнущего вдали.

На утёсе безопасен,

Весь я – зренье, весь я – слух.
Но виденья старых басен
Возмущают слабый дух.

Крылья огненного змея
Не затмят ли вдруг закат?
Не взлетит ли, искры сея,
Он над нами, смерти рад?

Из камней не выйдет вдруг ли
Племя карликов ко мне?
Обращая ветки в угли,
Лес не встанет ли в огне?

Месяц вышел. Громче шорох.
Зебра мчится вдалеке.
Лев, взрывая листьев ворох,
Тупо тянется к реке.

Дали сумрачны и глухи.
Хруст слышнее. Страшно. Ведь
Кто же знает: это ль духи
Иль пещеры царь – медведь!

Бунин И. А.
Родина

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.

Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

Есенин С. А.
Бабушкины сказки

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой

По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в постели…
Но а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело, –
Говори да говори.

Есенин С. А.
Я покинул родимый дом…

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клён
Головой на меня похож.

Лермонтов М. Ю.
Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнётся и скрыпит…
Увы! он счастия не ищет,
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Рубцов Н. М.
Тихая моя родина (В. Белову)

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…

Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Рубцов Н. М.
Хлеб

Положил в котомку сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
– Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! –
Всё же бабка сунула краюху!
Всё на свете зная наперёд,
Так сказала:
– Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несёт…

Рылеев К. Ф.
Иван Сусанин (дума)

«Куда ты ведёшь нас?.. не видно ни зги! –
Сусанину с сердцем вскричали враги, –
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.
Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;
Но тем Михаила тебе не спасти!

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует,
Но смерти от ляхов ваш царь не минует!..
Веди ж нас, – так будет тебе за труды;
Иль бойся: не долго у нас до беды!
Заставил всю ночь нас пробиться с метелью…
Но что там чернеет в долине за елью?»

«Деревня! – сарматам в ответ мужичок –
Вот гумна, заборы, а вот и мосток.
За мною! в ворота! – избушечка эта
Во всякое время для гостя нагрета.
Войдите, – не бойтесь!» – «Ну, то-то, москаль!..
Какая же, братцы, чертовская даль!

Такой я проклятой не видывал ночи,
Слепились от снегу соколии очи…
Жупан мой – хоть выжми – нет нитки сухой! –
Вошед, проворчал так сармат молодой. –
Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли!
Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!»

Вот скатерть простая на стол постлана;
Поставлено пиво и кружка вина,
И русская каша и щи пред гостями,
И хлеб перед каждым большими ломтями.
В окончины ветер, бушуя, стучит;
Уныло и с треском лучина горит.

Давно уж за полночь!.. Сном крепким объяты,
Лежат беззаботно по лавкам сарматы.
Все в дымной избушке вкушают покой;
Один, настороже, Сусанин седой
Вполголоса молит в углу у иконы
Царю молодому святой обороны!..

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом.
Сусанин поднялся и в двери тайком…
«Ты ль это, родимый?.. А я за тобою!
Куда ты уходишь ненастной порою?
За полночь… а ветер ещё не затих;
Наводишь тоску лишь на сердце родных!»

«Приводит сам бог тебя к этому дому,
Мой сын, поспешай же к царю молодому;

Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей;
Что гордые ляхи, по злобе своей,
Его потаённо убить замышляют
И новой бедою Москве угрожают!

Скажи, что Сусанин спасает царя,
Любовью к отчизне и вере горя.
Скажи, что спасенье в одном лишь побеге
И что уж убийцы со мной на ночлеге». –
«Но что ты задумал? подумай, родной!
Убьют тебя ляхи… Что будет со мной?

И с юной сестрой и матерью хилой?» –
– «Творец защитит вас святой своей силой.
Не даст он погибнуть, родимые, вам:
Покров и помощник он всем сиротам.
Прощай же, о сын мой, нам дорого время;
И помни: я гибну за русское племя!»

Рыдая, на лошадь Сусанин младой
Вскочил и помчался свистящей стрелой.
Луна, между тем, совершила полкруга;
Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга.
На небе восточном зарделась заря:
Проснулись сарматы – злодеи царя.

«Сусанин! – вскричали, – что молишься богу?
Теперь уж не время – пора нам в дорогу!»
Оставив деревню шумящей толпой,
В лес тёмный вступают окольной тропой.
Сусанин ведёт их… Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло:

То скроется быстро, то ярко блеснёт,
То тускло засветит, то вновь пропадёт.
Стоят не шелохнясь и дуб, и берёза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

Друг за другом идут в молчанье сарматы;
Всё дале и дале седой их вожатый.
Уж солнце высоко сияет с небес –
Всё глуше и диче становится лес!

И вдруг пропадает тропинка пред ними;
И сосны и ели ветвями густыми,

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.
Вотще настороже тревожное ухо:
Всё в том захолустье и мёртво и глухо…
«Куда ты завёл нас?» – лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно!» – Сусанин сказал. –

«Убейте! замучьте! – моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: – я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит». –

«Злодей!» – закричали враги закипев, –
«Умрёшь под мечами!» – «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, то бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» –

«Умри же!» – сарматы герою вскричали –
И сабли над старцем, свистя, засверкали! –
«Погибни, предатель! Конец твой настал!»
И твёрдый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла Михаила!

Толстой А. К.
Илья Муромец

Под бронёй с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья;

Едет бором, только слышно,
Как бряцает бронь,
Топчет папоротник пышный
Богатырский конь.

И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживёшь?

Двор мне, княже, твой не диво,
Не пиров держусь,
Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус!

Но обнёс меня ты чарой
В очередь мою –
Так шагай же, мой чубарый,
Уноси Илью!

Без меня других довольно:
Сядут – полон стол;
Только лакомы уж больно,
Любят женский пол.

Все твои богатыри-то,
Значит, молодёжь –
Вот без старого Ильи-то
Как ты проживёшь!

Тем-то я их боле стою,
Что забыл уж баб,
А как тресну булавою,
Так ещё не слаб!

Правду молвить, для княжого
Не гожусь двора,
Погулять по свету снова
Без того пора.

Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит;
От царьградских от курений
Голова болит;

Душно в Киеве, что в скрине, –
Только киснет кровь,
Государыне-пустыне

Поклонюся вновь!

Вновь изведаю я, старый,
Волюшку мою –
Ну же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!»

И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;

Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет тёмный бор.

Толстой А. К.
Курган

В степи, на равнине открытой,
Курган одинокий стоит;
Под ним богатырь знаменитый
В минувшие веки зарыт.

В честь витязя тризну свершали,
Дружина дралася три дня,
Жрецы ему разом заклали
Всех жён и любимца коня.

Когда же его схоронили
И шум на могиле затих,
Певцы ему славу сулили,
На гуслях гремя золотых.

«О витязь, делами твоими
Гордится великий народ!
Твое громоносное имя
Столетия все перейдёт!

И если курган твой высокий
Сровнялся бы с полем пустым,
То слава, разлившись далёко,

Была бы курганом твоим!»

И вот миновалися годы,
Столетия вслед протекли,
Народы сменили народы,
Лицо изменилось земли;

Курган же с высокой главою,
Где витязь могучий зарыт,
Ещё не сровнялся с землёю,
По-прежнему гордо стоит;

А витязя славное имя
До наших времён не дошло.
Кто был он? Венцами какими
Своё он украсил чело?

Чью кровь проливал он рекою?
Какие он жёг города?
И смертью погиб он какою?
И в землю опущен когда?

Безмолвен курган одинокий,
Наездник державный забыт,
И тризны в пустыне широкой
Никто уж ему не свершит.

Лишь мимо кургана мелькает
Сайгак, через поле скача,
Иль вдруг на него налетает,
Крилами треща, саранча;

Порой журавлиная стая,
Окончив подоблачный путь,
К кургану шумит подлетая,
Садится на нём отдохнуть;

Тушканчик порою проскачет
По нём при мерцании дня,
Иль всадник высоко маячит
На нём удалого коня;

А слёзы прольют разве тучи,
Над степью плывя в небесах,

Да ветер лишь свеет летучий
С кургана забытого прах.

Когда же на западе дальний,
Бледнея, скрывается день,
Сидит на кургане печально
Забытого витязя тень,

Сидит и вздыхает глубоко:
«Где слава, где слава моя?
Минувшие веки далёко,
Отторгнут от прошлого я!

О жизни своей вспомяну ли?
Всё было иначе тогда!
Певцы, вы меня обманули,
Венцов моих нет и следа!

И если бы знал я, как скоро,
Как скоро увянут они,
Далёко от брани и спора
Я прожил бы мирные дни!»

Так думает витязь, вздыхая,
На тёмном кургане сидит,
Доколе заря золотая
Пустынную степь озарит;

Тогда он обратно уходит,
В подземный уходит он дом,
А ветер по-прежнему бродит,
И грустно и пусто кругом.

notes

Сноски

1

Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.).

2

Ну, ну, лентяй! (нем.).

3

Ах, оставьте (нем.).

4

Скоро ли вы будете готовы? (нем.).

5

Милый (нем.).

6

Татарами в те времена называли горцев Северного Кавказа, которые подчинялись законам мусульманской веры (религии).

7

«Рольней» или «черпальной» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.

8

«Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

9

«Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.

10

Сетка, которой бумагу черпают.

11

По-орловскому: змеи.

12

Так мужики называют у нас солнечное затмение.

13

В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе.

14

Сугибель – крутой поворот в овраге.

15

Бучило – глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

16

Крестовый брат – Добрыня и Алёша обменялись нательными крестами и стали «крестовыми братьями».

17

Да ходит по гридне окоракою – ходит по комнате на четвереньках.

18

Колпак да земли греческой – головной убор странника по святым местам (здесь превращён в метательное оружие).

19

Пуд – старинная русская мера веса, чуть более 16 кг.

20

Былиц кликал. Былица – знахарка, гадающая по травам.